

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

- Герберт Уэллс
 - Прелюдия
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - Часть первая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7

- 8

- Часть вторая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- Часть третья

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6
- 7
- 8

- Часть четвертая

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- Часть пятая

- 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- notes
 - 1



Герберт Уэллс
ОСВОБОЖДЕННЫЙ
МИР

Прелюдия «Ловцы Солнца»

История человечества — это история обретения внешней мощи. Человек — это пользующееся орудиями, добывающее огонь животное. Еще в самом начале его земного пути мы видим, что он добавлял к естественной силе и природному оружию животного жар огня и грубые каменные орудия. Благодаря этому он перестал быть обезьяной. С этого момента он быстро пошел вперед. Вскоре он присоединил к своей силе силу лошади и быка, он воспользовался несущей силой воды и увлекающей силой ветра; он ускорял разгорание

своего костра, раздувая его, а его простые орудия, обработанные сперва медью, а потом железом, увеличивались в числе, разнообразились и становились все более хитроумными и удобными. Он сохранял тепло с помощью жилищ и облегчал себе передвижение с помощью тропинок и дорог. Он усложнял свои социальные взаимоотношения и увеличивал производительность своего труда путем его разделения. Он начал накапливать знания. Приспособление следовало за приспособлением, и каждое из них помогало человеку производить все больше. Неизменно на протяжении

своей все удлиняющейся истории, за исключением периодов, время от времени отбрасывавших его назад, он производит все больше и больше...

Четверть миллиона лет назад самый высокоразвитый человек был дикарем, почти не умевшим мыслить и говорить, укрывавшимся в пещерах среди скал, вооруженным грубо обтесанным кремнем или обожженной на огне палкой, нагим. Люди жили маленькими семейными ордами, и едва мужественность человека начинала угасать, как его убивал кто-нибудь помоложе. Долго и тщетно пришлось бы вам разыскивать человека по обширным диким пространствам земли. Лишь в

нескольких речных долинах, расположенных в умеренном поясе и в субтропиках, наткнулись бы вы на жалкие логова его крохотных орд — самец, несколько самок, два-три детеныша.

Тогда он не знал будущего, не знал иной жизни, кроме той, которую вел. Он убегал от пещерного медведя по скалам, сложенным из железной руды, которая сулила меч и копье; он насмерть замерзал на угольном пласте; он пил воду, помутневшую от глины, из которой в грядущем стали изготавливать фарфоровые чашки; он жевал случайно сорванный колос дикой пшеницы и, что-то смутно

соображая, поглядывал на птиц, круживших в небе, вне пределов его досягаемости. Или, внезапно почуяв запах другого самца, с рычанием вставал на ноги, и рык этот был нечленораздельным предшественником моральных наставлений. Ибо этот первочеловек был великим индивидуалистом и не терпел себе подобных.

И вот в длинной цепи поколений этот наш грузный предшественник, этот наш всеобщий предок дрался, размножался, погибал, изменяясь почти незаметно.

И все же он изменялся. Тот же острый резец необходимости, который из века в век заострял когти

тигра и выточил из неуклюжего орогиппуса быструю, грациозную лошадь, трудился и над ним, как он трудится над ним и по сей день. Наиболее неуклюжие и наиболее тупо злобные среди его собратьев погибали быстрее и чаще; побеждали более ловкая рука, более быстрый глаз, более развитый мозг, более пропорционально сложенное тело; век за веком орудия незаметно совершенствовались, а человек незаметно извлекал все больше пользы из своих возможностей. Он становился более общительным, его орда росла; уже не всякий вожак орды убивал или изгонял своих подрастающих сыновей; система табу

позволяла ему терпеть их, а они почитали его, пока он был жив (а вскоре начали почитать его даже и после смерти), и стали его союзниками в войне с хищными зверями и с остальным человечеством. (Но им запрещалось касаться женщин своего племени, они должны были подстерегать женщин чужого племени и захватывать их силой, и каждый сын избегал своих мачех и прятался от них, опасаясь разбудить ярость Старика. И во всем мире даже и по сей день можно проследить эти древние всеобщее табу.) И теперь на смену пещерам пришли шалаши и хижины. Огонь был окончательно

приручен, появились шкуры, появилась одежда, и благодаря всему этому двуногое существо распространилось в более холодные области, неся с собой запасы пищи, которую уже научились хранить, и порой забытое в тайнике зерно давало ростки, кладя начало земледелию.

И уже зарождались досуг и мысль.

Человек начинал мыслить. Выпадали времена, когда он был сыт, когда его не тревожили ни похоть, ни страх, когда солнце пригревало его стоянку, и тогда в его глазах зажигались смутные проблески мысли. Он царапал на кости и,

уловив идею сходства, начинал стремиться к нему и так создавал искусство живописи; мял в кулаке мягкую теплую глину с берегового откоса, испытывал удовольствие от возникновения изменчивых и повторяющихся форм, лепил из нее первый сосуд и обнаруживал, что она не пропускает воду. Он смотрел на струящийся ручей и старался постичь, какая благодетельная грудь источает эту неиссякающую воду; он, щурясь, смотрел на солнце и мечтал поймать его в ловушку, заколоть копьем, когда оно уйдет в свое логово за дальними холмами. А потом сообщал своему собрату, что один раз ему уже удалось это сделать — ну, не

ему, так кому-то еще, — и эта мечта смешивалась с другой почти столь же дерзкой: что когда-то уже удалось загнать мамонта. Так зародилась фантазия, указывая путь к свершению, кладя начало величественной пророческой веренице сказаний.

Десятки, сотни столетий, тысячи тысяч поколений продолжалась эта жизнь наших отцов. Между началом и расцветом этой фазы человеческой жизни, между созданием первого неуклюжего каменного орудия из кремня и первыми орудиями из полированного камня прошло от двух до трех тысяч столетий, сменилось

от десяти до пятнадцати тысяч поколений. Так неторопливо — по нашим человеческим меркам — творило себя человечество из смутного звериного сознания. И этот первый проблеск мысли, этот первый рассказ о свершении, этот рассказчик, который, покрасневшись и блестя глазами под спутанной гривой волос, размахивал руками перед лицом своего изумленного и недоверчивого слушателя и хватал его за локоть, чтобы привлечь внимание к себе, — это было самым великолепным из всех начал, какие только видел наш мир. Оно обрекало мамонтов на гибель, и оно привело к той ловушке,

в которую суждено было поймать
солнце.

Эта мечта была лишь мгновением в жизни человека, которая, как и у всего братства зверей, заключалась как будто лишь в том, чтобы добывать пищу, убивать себе подобных и размножаться. Вокруг, скрытые лишь тончайшей завесой, находились нетронутые источники Силы, чью мощь даже и сегодня мы не можем измерить. Силы, которая могла претворить в действительность любую самую дерзкую мечту. Но хотя человек умирал слепым, не подозревая об этом, его племя уже вступило на путь, который вел к ее покорению.

Наконец на щедрой почве теплых речных долин, где пища была обильна и жизнь легка, человек, все дальше отходя от зверя, преодолел первоначальную вражду к себе подобным, становясь, по мере того как слабели тиски необходимости, все более терпимым, и создал первую общину. Возникло разделение труда, некоторые из стариков становились хранителями знаний и наставниками, самый сильный возглавлял своих собратьев во время войны, и уже жрец и царь начинали приступать к исполнению своих ролей в первых сценах драмы, название которой — история человечества.

Жрец ведал сроками посева и сбора урожая и сохранением плодородия земли, а царь решал, быть ли миру или войне. В сотнях речных долин, лежащих на границе между умеренной и тропической зонами, уже десятки тысяч лет назад строились города и храмы. Их расцвет не был отмечен ни в каких хрониках, они не знали прошлого и не прозревали будущего, ибо искусство письма было еще неизвестно.

Очень, очень медленно начинал человек прибегать к неисчерпаемым богатствам Силы, которая повсюду предлагала ему себя. Он приручил некоторых животных, он превратил

свои примитивные, случайные приемы обработки земли в священный ритуал; сперва он научился пользоваться одним металлом, затем — другим, третьим, и вот в дополнение к камню он уже обладал медью, оловом, железом, свинцом, золотом, серебром; он научился обтесывать и обрабатывать дерево, изготовил глиняную посуду, спустился в челноке по своей реке и достиг моря, открыл колесо и проложил первые дороги. Но главным его занятием на протяжении более чем сотни веков было подчинение себя и других все более усложнявшемуся обществу. История человека — это не просто история

победы над внешними силами. Это в первую очередь победа над недоверием и злобой, над животным напряженным сосредоточением в самом себе, которые связывали его руки, мешали ему овладеть тем, что принадлежало ему по праву. Обезьяна в нас по-прежнему чуждается общения. Начиная с зари века полированного камня и по установление Всемирного Мира человек в основном имел дело с самим собой и своими собратьями: торговал, заключал сделки, вводил законы, умилоствлял, обращал в рабство, побеждал, уничтожал и самое малейшее увеличение своей силы он немедленно обращал и

обращает на цели этой сложной, не всегда осознанной борьбы за создание совершенного общества. Последним и величайшим из его инстинктов стало стремление объединить всех своих собратьев в едином, целенаправленном обществе. Еще не закончился последний этап века полированного камня, как человек уже стал политическим животным. Он сделал в себе самое открытие, последствия которых были необозримы, — сперва научившись считать, а потом писать и вести записи, и после этого его селения-общины начали вырастать в государства. В долинах Нила, Евфрата и великих китайских рек

зародились первые империи и первые писанные законы. Люди посвящали свою жизнь одному занятию — войне или управлению, становясь воинами и знатью. Позднее, с появлением надежных кораблей, Средиземное море из непреодолимой преграды превратилось в широкую дорогу, и в конце концов из мелких пиратских стычек родилась великая борьба Карфагена и Рима. История Европы — это история побед и распада Римской империи. Каждый монарх в Европе до самого конца монархий рабски подражал Цезарю и называл себя кайзером, или царем, или императором. Если измерять время

протяженностью человеческой жизни, то между первой египетской династией и появлением первого аэроплана прошел колоссальный срок, но если оглянуться на эпоху творцов первых каменных орудий, этот срок покажется историей вчерашнего дня.

В течение этих двадцати тысячелетий, в период воюющих между собой государств, когда человеческие умы были главным образом заняты политикой и взаимной агрессией, покорение внешней Силы шло медленно; быстро по сравнению с древним каменным веком, но чрезвычайно медленно по сравнению с новым

веком систематических открытий, в котором живем мы.

Оружие и методы войны, сельское хозяйство, вождение кораблей, сведения о земном шаре, а также домашняя утварь и весь хозяйственный обиход людей изменились сравнительно очень мало со дней первых египтян по тот день, когда родился Христофор Колумб. Разумеется, имели место изобретения, происходили перемены, но наряду с этим прогресс порой обращался вспять: сделанные открытия вновь забывались. В общем, это был несомненный прогресс, но его движение вперед не было непрерывным. Жизнь крестьян

не менялась. В начале этого периода в Египте, Китае, Ассирии и Юго-Восточной Европе уже были священнослужители и судьи, городские ремесленники, земельная знать и правители, врачи, повитухи, солдаты и моряки, и они делали примерно то же и вели почти такую же жизнь, какую они вели в Европе в 1500 году нашей эры. Английские археологи, раскапывая развалины Вавилона и Египта в 1900 году нашей эры, открывали юридические документы, домашние счета и семейную переписку, которые были им привычны и знакомы по собственному опыту. За этот период происходили большие религиозные и

этические перемены, империи и республики вытесняли друг друга; Италия поставила обширнейший эксперимент с рабовладением, и надо сказать, что рабовладение испытывалось вновь и вновь, и каждый раз приводило к неудачам, и все же было испробовано и вновь отвергнуто в Новом Свете; христианство и мусульманство уничтожили тысячи более узких культов, но сами по себе они являлись непрерывным приспособлением человечества к определенным материальным условиям, которые тогда, вероятно, представлялись вечными. В этот период человеческий разум не

воспринял бы мысли о революционных переменах материальных условий жизни.

Однако и в буднях средневековья среди войн и процессий, строительства замков и строительства соборов, искусства и любви, дипломатических интриг и кровавой вражды, крестовых походов и торговых путешествий все еще жил мечтатель и рассказчик, ожидая своего часа. Он уже не фантазировал с буйной свободой дикаря каменного века: путь ему со всех сторон преграждали авторитетные исчерпывающие объяснения всего сущего. Однако его фантазии зарождались в более развитом мозгу,

и, оставляя дела, он созерцал в небе движение звезд и размышлял над монетой или кристаллом, зажатой в руке. И на протяжении всей этой эпохи, как только выпадали минуты досуга, всегда находились люди, которых не удовлетворяла внешность вещей, не удовлетворяли ортодоксальные объяснения, люди, которые томились смутным ощущением того, что окружающий мир состоит из неразгаданных символов, люди, которые сомневались в непререкаемости схоластической мудрости.

На протяжении всех веков истории находились люди, которые ощущали вокруг себя непознанное. И

хоть раз услышав его зов, они больше не могли вести-обычную жизнь, не могли удовлетворяться тем, что удовлетворяло их соседей. И чаще всего они верили не только в то, что весь окружающий мир был, так сказать, цветным занавесом, скрывающим неразгаданное, но и в то, что эти скрытые тайны представляли собой Силу. До этого люди обретали силу случайно, но теперь появились эти искатели и принялись искать, искать среди редких, странных и непонятных предметов, порой находя что-нибудь, порой обманывая себя воображаемым открытием, порой сознательно обманывая других.

Будничный мир смеялся над этими чудаками или досадовал на них и обходился с ними сурово, или же, охваченный страхом, объявлял их святыми, колдунами и оборотнями, или, подстрекаемый алчностью, угождал им в надежде извлечь из этого выгоду, но чаще всего просто не обращал на них никакого внимания. И все же в их жилах текла кровь того, кому первому пригрезился побежденный мамонт; все они до одного были его потомками, а искали они, и не подозревая об этом, ловушку, в которую когда-нибудь будет поймано солнце.

Таким человеком был некий Леонардо да Винчи, который с рассеянным достоинством служил миланскому герцогу Сфорца. Его записки исполнены пророческой тонкости и удивительного предвосхищения методов первых авиаторов. Таким же был и Дюрер; к этой породе принадлежал и Роджер Бэкон — тот, кого заставили умолкнуть францисканцы. Таким же человеком в более раннюю эпоху был Гиерон Александрийский, знавший о силе пара за тысячу девятьсот лет до того, как она нашла практическое применение. А еще раньше жил

Архимед Сиракузский, и еще раньше — легендарный Дедал Кносский. И всюду, на всем протяжении истории, стоило наступить небольшой передышке от войн и зверств, появлялись искатели. И половина алхимиков принадлежала к их племени.

Когда Роджер Бэкон взорвал свою первую горстку пороха, можно было подумать, что люди немедленно используют эту взрывную силу для приведения в действие машин. Но это им и в голову не пришло. Они еще и не начинали подозревать о подобных возможностях, а их металлургия была настолько примитивна, что даже замыслили они

такие машины, их невозможно было бы изготовить. Ведь они довольно долго были не в состоянии изготавливать достаточно прочные приспособления, которые могли бы выдержать давление. Этой новой силы, хотя бы при осуществлении такой примитивной цели, как метание снарядов. Их первые пушки представляли собой стянутые обручами деревянные трубы. И миру пришлось ждать более пятисот лет, пока появилась первая машина взрывного действия.

Даже когда искатели находили что-то, требовался очень долгий срок, чтобы мир мог использовать их находку для каких-нибудь иных

целей, кроме самых примитивных и самых очевидных. Если человек в целом уже не был абсолютно слеп к окружающим его непокоренным энергиям, как его палеолитический предок, он все же в лучшем случае был очень близорук.

Прежде чем энергия, таившаяся в угле, и сила пара начали оказывать влияние на человеческую жизнь, им очень долго пришлось пробить на грани открытия.

Без сомнения, при дворах и во дворцах время от времени появлялось много таких игрушек, как изобретение Гиерона, но их тут же забывали, и потребовалось, чтобы уголь стал добываться и сжигаться по соседству с большим количеством железной руды, прежде чем люди сообразили, что это не просто пустая диковинка. И следует отметить, что первое записанное в истории

предложение использовать пар было связано с войной: существует трактат времен королевы Елизаветы, в котором предлагается стрелять при помощи закупоренных железных бутылей, наполненных кипящей водой. Добывание угля на топливо, выплавка железа в большем масштабе, чем когда-либо раньше, паровой насос, паровая машина, паровое судно следовали друг за другом в порядке, который отражает определенную логическую необходимость. История пара от ее начала, как фактора в человеческом сознании, до огромных турбин, которые предшествовали использованию внутримолекулярных

сил, — это самая интересная и поучительная глава в истории развития человеческого интеллекта. Почти каждый человек, несомненно, видел пар, и на него смотрели в течение многих тысячелетий без всякого любопытства, в частности женщины постоянно нагревали воду, кипятили ее, видели, как она выкипает, видели, как крышки сосудов приплясывают под яростным напором пара; в разные времена миллионы людей, несомненно, наблюдали, как пар выбрасывает из кратера вулкана огромные камни, словно крикетные шары, и превращает пемзу в пыль, и все же можно обыскать с начала и до конца

архив человечества — письма, книги, надписи, картины — и не найти даже проблеска догадки о том, что рядом была сила, рядом была мощь, которую можно было подчинить себе и использовать... А затем человек внезапно осознал это; железные дороги сетью опутали земной шар, все увеличивающиеся в размерах железные паровые суда начали свою ошеломительную борьбу против ветра и волн.

Пар был первой из обретенных новых сил, он положил начало Веку Энергии, которому суждено было заключить длинную историю Эпохи Воюющих Государств.

Однако очень долго люди не

сознавали всей важности этой новинки. Они не желали признать, они не были способны признать, что произошло нечто решительным образом меняющее привычный уклад жизни, сложившийся еще в незапамятные времена. Они называли паровоз «железным конем» и делали вид, будто произошла простая замена. Паровые машины и фабричное производство прямо на глазах у них революционизировали условия промышленного производства, население постоянно и непрерывно покидало сельские местности и концентрировалось доселе неслыханными массами в немногих больших городах. Пища для

них поступала из столь отдаленных мест и в таких масштабах, что единственный прецедент — подвоз хлеба в императорский Рим — казался в сравнении незначительной мелочью. Происходила гигантская миграция народов между Европой, Западной Азией и Америкой, но тем не менее никто, казалось, не понимал, что в жизнь человечества вошло нечто новое и что этот водоворот совершенно не похож на предыдущие движения и изменения и напоминает завихрения, которые возникают в шлюзе, когда после долгой фазы накопления воды и ее бездеятельного кружения начинают открываться ворота.

В конце девятнадцатого столетия невозмутимый англичанин, садясь за завтрак, выбирал, будет ли он пить чай с Цейлона или кофе из Бразилии, попробует ли он яичницу из французских яиц с датской ветчиной или съест новозеландскую баранью отбивную, а затем, заключив завтрак вест-индским бананом, проглядывал последние телеграммы со всех концов света, изучал курс своих капиталовложений, распределенных географически между Южной Африкой, Японией и Египтом, и сообщал двум детям, которых он зачал (вместо тех восьмерых, которых зачал его отец), что, по его

мнению, мир почти не меняется. Они должны играть в крикет, вовремя подстригать волосы, учиться в старой школе, в которой учился он сам, ненавидеть уроки, которые ненавидел он, вызубрить несколько отрывков из Горация, Вергилия и Гомера на посрамление людям не их круга, — и жизнь их сложится прекрасно...

Электричество, хотя изучать его и начали, пожалуй, раньше пара, ворвалось в повседневную жизнь человека несколькими десятилетиями позже. И к электричеству также, несмотря на то, что оно окружало человека в дразнящей близости со всех сторон, люди были слепы в течение неисчислимых веков.

А ведь электричество требовало внимания к себе с ни с чем не сравнимой настойчивостью. Оно гремело над ухом человека, оно подавало ему сигналы ослепительными вспышками, иногда

оно даже убивало его, а он тем не менее не считал, что это явление близко его касается и заслуживает хотя бы изучения. Электричество являлось в его дом, в любой сухой дом вместе с кошкой, и соблазнительно потрескивало, когда он ее гладил. Оно разрушало его металлы, когда он складывал их вместе... И все же до шестнадцатого века, насколько мы можем судить, никто ни разу не заинтересовался, почему кошачий мех потрескивает или почему волосы встают дыбом под щеткой в морозный день. Бесконечные годы человек, казалось, делал все, что в его силах, чтобы не замечать этих явлений, пока наконец

к ним не обратился этот новый дух — дух Искания.

Как часто, наверно, многие явления наблюдались и забывались, как не заслуживающие внимания пустяки, прежде чем к ним обращался пытливый взгляд и наступал момент прозрения! Первым начал ломать голову над поведением кусочков янтаря, стекла, шелка и шеллака, если их потереть, Гилберт, придворный врач королевы Елизаветы, и с этих пор человеческий разум все быстрее начал постигать эту вездесущую энергию. Но и после этого в течение двухсот лет наука об электричестве оставалась небольшой группой

любопытных фактов, связанных то ли с явлениями магнетизма (это была лишь ни на чем не основанная догадка), то ли с молнией. Вероятно, лягушачьи лапки висели на медных крючках, насаженных на железные прутья, и дергались на них бесчисленное количество раз, прежде чем их увидел Гальвани. Если не считать громоотвода, то прошло двести пятьдесят лет со времен Гилберта, прежде чем электричество перешло из кунсткамеры научных диковинок в жизнь простых людей... А затем внезапно, за пятьдесят лет, прошедших между 1880 и 1930 годом, оно вытеснило паровую машину и

стало тяговой силой, оно вытеснило
все другие формы отопления и
уничтожило расстояние с помощью
усовершенствованного
беспроволочного телефона и
телефотографа...

И не менее ста лет с начала научной революции человеческое сознание отчаянно сопротивлялось открытиям и изобретениям. Каждая новинка пробивала себе путь к практике через стену скептицизма, порой граничившего с враждебностью. Некий писатель, занимавшийся этими темами, сообщает о забавном семейном разговоре, который, по его словам, произошел в 1898 году, другими словами, всего за десять лет до того времени, как первые авиаторы начали уверенно покорять воздух. Он сидел за письменным столом в своем

кабинете и беседовал со своим маленьким сыном.

Его сын был очень расстроен. Он чувствовал, что должен серьезно поговорить с отцом, но, будучи добрым маленьким мальчиком, не хотел обойтись с ним слишком сурово.

Вот их разговор.

— Папа, — сказал мальчик, переходя к делу. — Может быть, ты не будешь писать всей этой чепухи про полеты? Ребята меня дразнят.

— Да? — сказал его отец.

— И старик Бруми... ну... директор тоже смеется надо мной. Мне проходу не дают.

— Но ведь полеты начнутся — и

очень скоро.

Маленький мальчик был слишком хорошо воспитан, чтобы высказать вслух то, что он подумал.

— Все равно, — повторил он, — лучше бы ты об этом не писал.

— Ты будешь летать — и много раз в своей жизни, — заверил его отец.

Мальчик насупился с несчастным видом.

Отец помедлил в нерешительности. Потом он открыл ящик и вытащил нерезкий, недопроявленный фотографический снимок.

— Посмотри-ка, — сказал он.

Мальчик подошел к нему. На

фотографии был виден ручей, лужайка за ним, несколько деревьев, а в воздухе — черный, похожий на карандаш предмет с плоскими крыльями по бокам. Это было первое изображение первого аппарата тяжелее воздуха, которому удалось удержаться над землей с помощью механической силы. Сбоку было написано: «И летим мы ввысь, ввысь, ввысь! — От С.Ленгди. Смитсоновский институт, Вашингтон».

Отец ждал, какое впечатление произведет на сына это доказательство.

— Ну, что? — спросил он.

— Это же только модель, —

ответил мальчик, подумав.

— Сегодня модель, а завтра человек.

Мальчик несколько секунд колебался: уважение к отцу боролось с уважением к директору. Но в конце концов он стал на сторону того, кого искренне считал средоточием всех возможных знаний.

— А вот старик Бруми, — объявил он, — только вчера сказал в классе: «Человек никогда не полетит». Он говорит, что тот, кто хоть раз в жизни стрелял куропаток или фазанов на лету, никогда не поверит подобной чепухе...

И все же этому мальчику довелось не раз перелетать через

Атлантический океан, а кроме того,
издать воспоминания своего отца.

В последние годы девятнадцатого столетия считалось — чему мы находим многочисленные свидетельства в литературе того времени, — что человек, наконец успешно и к своей выгоде покорив пар, который ошпаривал его, и электричество, которое сверкало и гремело вокруг него в небе, добился изумительного и скорее всего завершающего триумфа своего разума и интеллектуального мужества. В некоторых из этих книг звучит мотив «Ныне отпускаеши».

«Все великие открытия уже сделаны, — писал Джеральд Браун в

своём обзоре девятнадцатого столетия. — Нам остается лишь разрабатывать кое-какие детали». Дух искания все еще был редкостью в мире; система образования была несовершенна, неинтересна, схоластична, и образованность ценилась мало, — почти никто даже в эту эпоху не отдавал себе отчета, что Наука находилась лишь в самой зачаточной стадии и подлинно великие открытия еще даже не начались.

Никто, по-видимому, не опасался науки и возможностей, которые она открывала. А ведь к тому времени там, где прежде был лишь десяток искателей, теперь их

было много тысяч, и на один зонд пытливей мысли, который в тысячу восьмисотом году исследовал то, что скрывалось за внешностью вещей и явлений, теперь их приходилось сотни. И уже Химия, чуть ли не целый век удовлетворявшаяся своими атомами и молекулами, начала готовиться к следующему гигантскому шагу, которому предстояло революционизировать всю жизнь человека сверху донизу.

Чтобы понять, насколько несовершенна была наука той эпохи, достаточно напомнить историю открытия состава воздуха. Его состав был определен к концу восемнадцатого столетия Генри

Кавендишем — чудаковатым гением и отшельником, человеком тайны, бестелесным интеллектom. Насколько это было в его силах, он идеально разрешил свою задачу. Он выделил все известные составные части воздуха с точностью поистине поразительной; он даже указал, что азот может содержать какие-то примеси. Химики всего мира более ста лет подтверждали полученные им результаты, его аппарат хранился в Лондоне как бесценная реликвия. Кавендиш стал, как говорили в те времена, «классиком», — и в то же время, сколько раз ни повторялся его эксперимент, в азоте неизменно скрывался еще один элемент —

неуловимый аргон (вместе с ничтожным количеством гелия и следами других веществ — собственно говоря, со всеми теми данными, которые могли бы открыть перед химией двадцатого века совершенно новые пути), и каждый раз он ускользал незамеченным между профессорскими пальцами, повторявшими опыт Кавендиша.

Нужно ли удивляться, что при таких огромных допусках научные открытия до самого начала двадцатого века по-прежнему оставались скорее цепью счастливых случайностей, чем систематическим покорением природы?

И все же дух искания все больше

и больше распространялся по земле. Даже школьный учитель не мог ему помешать. Если в девятнадцатом столетии тех, кто жаждал познать тайны природы, была всего лишь горстка, то теперь, в первые годы двадцатого века, в Европе, в Северной и Южной Америке, в Японии, в Китае и повсюду в мире их были уже мириады — тех, кто сумел преодолеть пределы интеллектуальной рутины и повседневной жизни.

И вот настала тысяча девятьсот десятый год — год, когда родители Холстена, которого впоследствии целое поколение ученых называло «величайшим химиком Европы»,

сняли на сезон виллу вблизи Санто Доминико, между Фьезоле и Флоренцией. Ему тогда было только пятнадцать лет, но он уже приобрел известность как математик и был одержим яростной жаждой познавать. Его особенно влекла тайна флуоресценции, которая как будто не имела никакой связи с любыми другими источниками света. Впоследствии в своих воспоминаниях Холстен рассказал, как он следил за танцем светляков среди темных деревьев в саду виллы под теплыми бархатными небесами Италии; как он ловил их и держал в банках, а потом, предварительно изучив общую анатомию насекомых,

начал их вскрывать; и как он попробовал воздействовать различными газами и температурами на их свечение. А затем случайно подаренная ему прелестная научная игрушка, изобретенная сэром Уильямом Круксом, — игрушка, называемая спинтарископом, в которой под воздействием частиц радия светится сернистый цинк, — заставила его задуматься над возможной связью между этими двумя явлениями. Это была счастливая мысль, и она очень помогла ему в его исследованиях. И очень редким и счастливым стечением обстоятельств можно считать тот факт, что эти

любопытные явления привлекли
внимание именно талантливого
математика.

А в то время, когда Холстен размышлял над своими светляками во Фьезоле, некий профессор физики по фамилии Рафис читал в Эдинбурге цикл вечерних лекций о радиации и радиоактивности. Эти лекции привлекали большое количество слушателей. Профессор читал их в маленькой лектории, в которой с каждым вечером становилось все теснее. На последней лекции все скамьи были битком набиты до самого последнего ряда, но даже те, кто стоял в проходах, забывали об усталости — так захватили их гипотезы, которые

излагал профессор. Но особенно заворочен был один слушатель — круглоголовый вихрастый молодой горец: он сидел, обхватив колени большими красными лапищами, и впитывал каждое слово. Глаза его сияли, щеки покраснелись, уши горели.

— Таким образом, — говорил профессор, — мы видим, что радий, который сперва представлялся нелепым исключением, безумным извращением, казалось бы, наиболее твердо установленных принципов строения материи, на самом деле обладает теми же свойствами, что и другие элементы. Просто в нем бурно и явно происходят процессы,

которые, возможно, свойственны остальным элементам, но протекают в них крайне медленно и потому незаметно. Так возглас одного человека выдает во мраке бесшумное дыхание множеств. Радий представляет собой элемент, который разрушается и распадается. Но, быть может, все элементы претерпевают те же изменения, только с менее заметной скоростью. Это, несомненно, относится к урану, и к торию — веществу этой раскаленной газовой мантии, и к актинию. Я чувствую, что мы лишь начинаем длинный список. И нам уже известно, что атом, который прежде мы считали мельчайшей частицей

вещества, твердой и непроницаемой, неделимой и... безжизненной... да, безжизненной!.. на самом деле является резервуаром огромной энергии. Вот каковы удивительные результаты этих исследований. Совсем недавно мы считали атом тем же, чем мы считаем кирпичи, — простейшим строительным материалом. Исходной формой материи, единообразной массой безжизненного вещества. И вдруг эти кирпичи оказываются сундуками, сундуками с сокровищами, сундуками, полными самой могучей энергии. В этой бутылочке содержится около пинты окиси урана; другими словами, около

четырнадцать унций элемента урана. Стоит она примерно двадцать шиллингов. И в этой же бутылочке, уважаемые дамы и господа, в атомах этой бутылочки дремлет по меньшей мере столько же энергии, сколько мы могли бы получить, сжигая сто шестьдесят тонн угля. Короче говоря, если бы я мог мгновенно высвободить сейчас вот тут всю эту энергию, от нас и от всего, что нас окружает, осталась бы пыль; если бы я мог обратить эту энергию на освещение нашего города, Эдинбург сиял бы яркими огнями целую неделю. Но в настоящее время никто еще не знает, никто даже не догадывается, каким образом можно

заставить эту горстку вещества ускорить отдачу заключенных в ней запасов энергии. Она и отдает их, но тоненькой, тоненькой струйкой. Уран очень медленно превращается в радий, радий превращается в газ, называемый эманацией радия, а это вещество — в то, которое мы называем «радий А». И этот процесс продолжается непрерывно с потерей энергии на каждом этапе, до тех пор, пока мы не достигнем последнего этапа, которым, насколько мы можем в настоящий момент судить, является свинец. Но ускорить этот процесс мы не в силах.

— Понятно, — шептал про себя вихрастый юноша, и его красные

руки стискивали колени, словно тиски. — Понятно. Ну, дальше! Дальше!

Помолчав, профессор продолжал.

— Почему это изменение является постепенным? — спросил он. — Почему в каждую данную секунду распадается лишь крохотная частица радия? Почему он выделяет эти частицы так медленно и так точно? Почему весь уран разом не превратится в радий, а весь радий — в следующее вещество? Почему этот распад идет по каплям? Почему эти элементы не распадаются целиком?.. Предположим, в скором времени мы найдем способ ускорить этот распад.

Вихрастый юноша энергично закивал. Сейчас он услышит чудесный, неизбежный вывод. Он подтянул колени к самому подбородку и от волнения заерзал на сиденье.

— Почему бы и нет? — прошептал он. — Почему бы и нет?

Профессор поднял указательный палец.

— Подумайте, — сказал он, — какие возможности откроются перед нами, если мы его найдем! Мы не только сможем использовать уран и торий; мы не только станем обладателями источника энергии настолько могучей, что человек сможет унести в горсти то

количество вещества, которого будет достаточно, чтобы освещать город в течение года, уничтожить эскадру броненосцев или питать машины гигантского пассажирского парохода на всем его пути через Атлантический океан. Но мы, кроме того, обречем ключ, который позволит нам наконец ускорить процесс распада во всех других элементах, где он пока настолько медлителен, что даже самые точные наши инструменты не могут его уловить. Любой кусочек твердой материи стал бы резервуаром концентрированной силы. Вы понимаете, уважаемые дамы и господа, что все это означало бы для

нас?

Вихрастая голова закивала.

— Дальше! Дальше!

— Это означало бы такое изменение условий человеческой жизни, которое я могу сравнить только с открытием огня — первым открытием, поднявшим человека над зверем. Сейчас радиоактивность для нас абсолютно то же, чем был огонь для нашего предка прежде, чем он научился его добывать. Тогда он знал огонь, как нечто непонятное, абсолютно не поддающееся его контролю: ослепительное сияние на гребне вулкана, красная гибель, пожирающая лес. Примерно столько же мы сейчас знаем о

радиоактивности. И сейчас... сейчас занимается заря нового дня в жизни человечества. В момент, критический для нашей цивилизации, зародившейся в кремневых орудиях и палочках для добывания огня, именно в тот момент, когда стало ясно, что современные источники энергии оказываются недостаточными для удовлетворения наших постоянно возрастающих потребностей, мы внезапно открываем возможность возникновения абсолютно новой цивилизации. Оказывается, что энергия, от которой зависит самое наше существование и которой до сих пор природа снабжала нас так

скудно, на самом деле заперта повсюду вокруг нас в непостижимых количествах. Пока еще мы не в силах сломать этот замок, но... — Он сделал паузу и понизил голос так, что все наклонились вперед, боясь не расслышать. — Но мы его сломаем!

Он вновь поднял свой худой палец.

— И тогда... — сказал он. — Тогда эта вечная борьба за существование, эта вечная борьба за то, чтобы как-то прожить на те скудные подачки энергии, которые уделяет нам природа, перестанет быть уделом Человека. С вершины нашей цивилизации Человек сделает шаг к началу цивилизации,

следующей за ней. У меня не хватает слов, уважаемые дамы и господа, чтобы описать вам материальную судьбу человека, прозреваемую мною в будущем. Я вижу преобразование гигантских пустынь, вижу полюсы, освобожденные от льда, вижу весь мир, вновь превращенный в Эдем. Я вижу, как мощь человека достигает звезд...

Он внезапно умолк, и этой ошеломительной паузе мог бы позавидовать любой актер или оратор.

Лекция кончилась, слушатели несколько секунд хранили молчание, потом перевели дух, заговорили, зашевелились, поднялись с мест и

начали расходиться. В зале зажглись лампы, и то, что прежде представлялось смутной массой неподвижных фигур, превратилось теперь в ярко освещенный хаос движения. Кто-то махал знакомым, кто-то пробивался к эстраде, чтобы получше рассмотреть аппараты лектора и срисовать его диаграммы. Но круглоголовый вихрастый юноша не хотел так быстро избавиться от обуревавших его удивительных мыслей. Он хотел остаться с ними наедине. Он с какой-то яростью проталкивался к выходу, весь оцетинившись, опасаясь, что кто-нибудь заговорит с ним и нарушит это ослепительное состояние

восторга.

Он шел по улице, и на лице его был написан экстаз, как у святого, которому было дано узреть видение. У него были очень длинные руки и до нелепости большие ступни.

Ему нужно было остаться одному, уйти куда-нибудь, где можно будет не опасаться, что волны обыденности захлестнут его.

Он поднялся на вершину Кресла Артура и долго сидел там, залитый закатным золотом, застыл в неподвижности, и только губы его порой шевелились, когда он повторял про себя какую-нибудь из драгоценных, запавших в его душу фраз.

— Если бы, — прошептал он, — если бы только мы могли сломать этот замок.

Солнце спускалось за дальние холмы. Оно уже лишилось своих лучей и превратилось в багрово-золотой шар, повисший над грядой черных туч, которые должны были вскоре поглотить его.

Юноша глубоко вздохнул, вдруг очнулся от своего забытья и увидел прямо перед собой красный солнечный диск. Несколько секунд он смотрел на него, словно не понимая, что это такое, а в его взгляде появлялось все большее и большее напряжение. В его мозгу возникла мысль, как странное эхо,

повторявшая фантазию праотцов — фантазию первобытного дикаря, чьи кости двести тысяч лет тому назад превратились в прах и развеялись без следа.

— У, ты, древний, — сказал он. Глаза его сияли, и он жадно потянулся рукой к пылающему диску. — Ты, красный... Мы тебя еще схватим.

Часть первая

«Новый источник энергии»

Проблема, над которой еще в самом начале XX века работали такие ученые, как Рамсей, Резерфорд и Содди, — проблема вызывания радиоактивного распада тяжелых элементов, который открыл бы доступ к внутренней энергии атома, — была благодаря редкому сочетанию научного мышления, интуиции и счастливой случайности разрешена Холстеном уже в 1933 году. Между тем годом, когда радиоактивность была впервые обнаружена, и ее первым практическим применением прошло немногим более четверти века.

Впрочем, в течение последующих двадцати лет всяческие второстепенные трудности мешали использовать открытие Холстена в широких практических целях. Однако главное было совершено — в этом году был преодолен новый рубеж на пути прогресса человечества. Холстен вызвал атомный распад в крохотной частице висмута; произошел сильнейший взрыв, в результате которого получился тяжелый газ с чрезвычайно высокой радиоактивностью — за неделю он распался, в свою очередь, и Холстену потребовался еще год, чтобы наглядно продемонстрировать, что

конечным результатом этого распада является золото. Но главное было сделано — ценой ожога на груди и сломанного пальца, — и с той секунды, когда невидимая частичка висмута превратилась в сгусток разрушительной энергии, Холстен уже знал, что он открыл человечеству путь — пусть еще узкий, извилистый и темный — к безграничному, неисчерпаемому могуществу. Именно это он записал в том странном дневнике-биографии, который после него остался, в дневнике, который до этого дня заключал в себе лишь бесчисленные гипотезы и выкладки, а теперь вдруг на краткий промежуток времени стал

изумительно точным и верным зеркалом глубоко человеческих эмоций и переживаний, доступных пониманию всех людей.

Обрывочными фразами, а часто даже отдельными словами он тем не менее с необычайной яркостью сообщает историю суток, последовавших за подтверждением правильности сложнейшей системы его вычислений и догадок. «Я думал, (что) не усну, — пишет он (в круглых скобках даются опущенные им слова), — (из-за) боли в (раненой) руке и груди и удивления перед тем, что (я) сделал... Спал, как дитя».

На следующее утро его охватило странное чувство бесприютности и

уныния. Делать ему было нечего, он жил тогда один в квартире в Блумсбери, и он решил отправиться в парк на Хемстед-Хит, где когда-то играл в детстве. Он поехал туда на метро, которое в то время было наиболее принятым в Лондоне средством сообщения, и от станции метро направился по Хит-стрит к парку. По обеим сторонам улицы тянулись строительные леса, за которыми виднелись груды мусора, бывшие прежде домами. Дух времени завладел и этой крутой извилистой улочкой и уже превращал ее в широкую магистраль, очень красивую с точки зрения весьма сомнительных эстетических идеалов

той эпохи. Человек всегда нелогичен, и Холстен, только что завершивший труд, представлявший собой, по сути, пороховую мину, заложенную под твердыни современной ему цивилизации, почувствовал большое сожаление при виде этих перемен. Он столько раз ходил по Хит-стрит, знал каждую витрину всех ютившихся на ней магазинчиков, провел столько блаженных часов в теперь исчезнувшем синематографе и любовался подлинными домами эпохи первых Георгов в западном конце этой улицы-овражка. И теперь, когда все это исчезло, он почувствовал себя здесь чужим. Наконец с большим облегчением он

выбравшись из этой путаницы канав, ям и подъемных кранов туда, где перед ним открылся пруд и окружающий его такой знакомый и милый пейзаж. Тут, во всяком случае, все осталось, как прежде.

Справа и слева по-прежнему тянулись старинные особнячки из красного кирпича, хотя пруд и украсился новой мраморной террасой. Белая гостиница с увитым цветами портиком все еще стояла вблизи перекрестка дорог, и забравшемуся сюда лондонцу, как прежде, показалось, что перед ним распахнулось окно, открыв голубые дали. Он смотрел на холм Харроу и колокольню на нем, на гряде далеких

холмов, на деревья, на сверкающие
речки, на скользящие по земле тени
облаков, и его душу охватывал
безмятежный покой. Все так же
бродили по парку гуляющие, все так
же автомобили, торопясь поскорее
выбраться из воскресной духоты,
сковывавшей город позади них,
мчались по аллеям, чудесным
образом никого не задев. По-
прежнему играл оркестр,
произносили речи суфражистки
(общество вновь относилось к ним
снисходительно, хотя и насмешливо),
социалисты, политиканы, а кругом
гремела музыка и оглушительно
лаяли собаки, в упоении обретенной
на час свободы забывшие долгий

недельный плен цепи и конуры. А на вершине холма медленно двигались толпы гуляющих и слышались обязательные восклицания: «Как удивительно отчетливо виден сегодня Лондон!»

Еще молодое лицо Холстена было белым как мел. Он шел, стараясь держаться свободно, что всегда является признаком нервного утомления и кабинетной жизни. Несколько секунд он простоял у пруда, не зная, свернуть ли ему направо или налево, а потом вновь остановился в нерешительности у перекрестка. Перебирая в пальцах тросточку, он рассеянно глядел по сторонам и то оказывался на пути у

встречных, то его толкали те, кто пытался его обогнать. Он признается, что чувствовал себя «не приспособленным к обычному существованию». Он представлялся себе не человеком, а каким-то злобным духом. Люди вокруг него казались вполне преуспевающими, вполне счастливыми, вполне довольными выпавшей на их долю жизнью — неделя работы и воскресная прогулка в праздничном костюме. А он положил начало тому, что разрушит всю систему, на которую опираются их спокойствие, привычки и радости. «Я чувствовал себя идиотом, который преподнес детским яслям ящик, полный

заряженных револьверов», — записал он в своем дневнике.

Он встретил своего однокашника, фамилия которого была Лоусон. Истории о нем известно только, что он был краснолиц и имел терьера. Дальше они с Холстеном пошли вместе, и, заметив бледность и нервность Холстена, Лоусон высказал предположение, что он переутомился и ему следовало бы отдохнуть. Они устроились за маленьким столиком перед зданием совета графства и послали официанта в «Бык и куст» за пивом — несомненно, по инициативе Лоусона. Пиво Несколько бросилось в голову

Холстену, и, став из злого духа почти человеком, он принялся рассказывать Лоусону, как мог проще, о неизбежных последствиях своего великого открытия. Лоусон притворялся, будто слушает, но у него не хватало ни знаний, ни воображения, чтобы понять, о чем идет речь.

— Не пройдет и нескольких лет, как оно самым радикальным образом изменит методы ведения войны, средства сообщения, систему производства, способы освещения и строительства и даже сельского хозяйства — словом, всю материальную жизнь человечества...

Тут Холстен умолк, заметив, что

Лоусон вскочил на ноги.

— Черт бы побрал эту собаку! — крикнул Лоусон. — Ты только погляди, что она вытворяет! Сюда! Фью-фью-фью! Сюда, Бобе! Ко мне!

Молодой ученый с забинтованной рукой сидел за зеленым столиком, не в силах сообщить другим о чуде, путей к которому он так долго искал, его приятель пытался свистом подзвать свою собаку и ругал ее, а мимо, залитая весенним солнцем, текла праздничная толпа гуляющих. Несколько секунд Холстен с недоумением смотрел на Лоусона: он был так увлечен своим рассказом,

что рассеянность Лоусона совсем ускользнула от его внимания. Потом он оказал: «Ну что ж...» — чуть-чуть улыбнулся и... допил свое пиво.

Лоусон опустил на сиденье.

— За собакой нужен глаз да глаз, — сказал он извиняющимся тоном. — Так о чем же ты мне рассказывал?

Вечером Холстен снова вышел из дома. Он дошел до собора Святого Павла и некоторое время стоял у дверей, слушая вечерню. Алтарные свечи почему-то напомнили ему о светляках Фьезоле. Затем он побрел по освещенным фонарями улицам к Вестминстеру. Он испытывал растерянность и даже страх, потому что очень ясно представлял себе колоссальные последствия своего открытия. В этот вечер он задумался о том, что, быть может, ему не следует сообщать о своем открытии, что оно преждевременно, что его следовало бы отдать какому-нибудь

тайному обществу ученых, чтобы они хранили его из поколения в поколение, пока мир не созреет для его практического применения. Он чувствовал, что среди тысяч прохожих на этих улицах ни один не готов к подобной перемене — они принимают мир таким, каков он есть, и подсознательно требуют, чтобы он не менялся слишком быстро, уважал их надежды, уверенность, привычки, маленькие будничные дела и их местечко в жизни, завоеванное ценой упорного и тяжкого труда.

Он прошел на сквер, зажатый между громадами отеля «Савой» и отеля «Сесиль». Опустившись на

скамью, он стал прислушиваться к разговору своих соседей. Это была молодая пара, видимо, жених и невеста. Он, захлебываясь, рассказывал ей, что наконец-то получил постоянную работу.

— Я им подхожу, — сказал он, — а мне подходит работа. Если я там приживусь, то лет через десять начну зарабатывать вполне прилично. Значит, так оно и будет, Хетти. Мы с тобой отлично заживем, иначе и быть не может.

«Стремление к своему малюсенькому успеху в неизменных, раз навсегда сложившихся условиях!» — Вот что подумал Холстен и добавил к этой записи в своем

дневнике: «Весь земной шар показался мне таким...»

Под этим он подразумевал своего рода пророческое видение, в котором вся планета предстала перед ним как одно целое, со всеми своими городами, селениями и деревнями, со всеми дорогами и гостиницами возле них, со всеми садами, и фермами, и горными пастбищами, со всеми лодочниками, матросами и кораблями на безграничных просторах океана, со всеми своими расписаниями и деловыми свиданиями и выплатами, — предстала перед ним как некое единое и вечно развивающееся зрелище. У него иногда бывали такие

видения. Его ум, привыкший к абстрактным обобщениям и в то же время чрезвычайно чувствительный к мельчайшим деталям, проникал в сущность явлений гораздо глубже, чем умы большинства его современников. Обычно этот кишащий жизнью шар двигался по своим извечным путям и с величественной быстротой несся по своей орбите вокруг солнца. Обычно в его видениях перед ним вставала жизнь в своем развитии. Но в этот вечер, когда усталость притупила ощущение непрерывности жизни, она показалась ему просто бесконечным вращением. Он поддался естественной для среднего

человека уверенности в вечной неизменности и точном повторении цикла его жизни. Седая древность первобытного варварства и неизбежные изменения, скрытые в грядущем, словно исчезли, и он видел только смену дня и ночи, срок посева и жатвы, любовь и зачатие, рождение и смерть, летние прогулки и зимние беседы у теплого очага — всю древнюю цепь надежд, и поступков, и старения, извечно обновляемую, неизменную во веки веков, над которой теперь была занесена кощунственная рука науки, чтобы опрокинуть этот неторопливый, тихо жужжащий, привычный, залитый солнцем волчок

человеческого существования...

На некоторое время он забыл про войны и преступления, про ненависть и гонения, про голод и болезни, про звериную жестокость, бесконечную усталость и безжалостные стихии, про неудачи, бессилие и безнадежность. В это мгновение все человечество воплотилось для него в этой скромной парочке на садовой скамейке рядом с ним, строящей планы бесхитростного и скучного будущего и рассчитывающей на маловероятную радость. «Весь земной шар показался мне таким...»

Некоторое время он пытался подавить в себе это настроение, но

тщетно. Он всячески гнал от себя мучительную мысль, что он чем-то отличается от всех остальных людей, что он чуждый всем скиталец, отбившийся от себе подобных и вернувшийся из долгих противоестественных блужданий среди мрака и фосфорического сияния, скрытых под радостной оболочкой жизни, вернувшийся со страшными дарами. Нет, нет! Человек бывает не только таким — стремление к своему маленькому семейному очагу, к своему маленькому полю не исчерпывает всей его натуры. Ведь, кроме того, он был искателем приключений, дерзким экспериментатором,

воплощением беспокойной любознательности и неутолимой жажды познания. Правда, на протяжении двух-трех тысяч поколений он пахал землю, засеивал ее и собирал урожай, следуя за сменой времен года, молился, молотил свое зерно и давил октябрьский виноград, но ведь это длилось не так долго, и былой беспокойный дух в нем не умер...

«Ведь если существовал очаг, привычная колея жизни и поле, — думал Холстен, — то рядом было изумление перед непознанным и море!»

Он повернул голову и через спинку скамьи оглянулся на

уходящие в небо огромные отели, все в мягко светящихся окнах, полные блеска, красок и суеты беззаботной жизни. Быть может, его дар человечеству просто умножит все это?..

Он встал и вышел из сквера, бросив взгляд на проходивший мимо трамвай, такой теплый и светлый на фоне темной вечерней синевы, влачащий за собой длинный шлейф бегущих бликов; он добрался до набережной и некоторое время смотрел, как струятся темные воды реки, а иногда оборачивался к ярко освещенным зданиям и мостам. И он уже начал думать о том, чем можно будет заменить эти скученные

современные города...

«Начало положено, — записал он в дневнике, откуда почерпнуты все эти сведения. — И не мне измерить последствия, которых я сейчас не могу предвидеть. Я лишь частица, а не целое; я лишь крохотный инструмент в арсенале Перемены. Если я и сожгу все эти выкладки, не пройдет и десяти лет, как кто-нибудь другой повторит мое открытие...»

Холстену было суждено дожить до того времени, когда атомная энергия вытеснила все остальные ее виды. Однако после его открытия прошло еще немало лет, прежде чем были преодолены разнообразные конкретные трудности и оно получило возможность эффективно вторгнуться в человеческую жизнь. Дорога от лаборатории до завода бывает очень извилиста. Существование электромагнитных волн было неопровержимо доказано за целых двадцать лет до того, как Маркони нашел для них практическое применение, и точно

так же только через двадцать лет
искусственно вызванная
радиоактивность обрела свое
практическое воплощение.
Говорилось о ней, конечно, очень
много, пожалуй, в период открытия
даже заметно больше, чем в годы
технического освоения, но почти
никто не признавал, какую
колоссальную экономическую
революцию знаменует ее появление.
Воображение репортеров 1933 года
больше всего поражало производство
золота из висмута, хотя как раз это
осуществление древней мечты
алхимиков оказалось совсем
невыгодным; в наиболее
интеллигентных кругах

образованной публики различных цивилизованных стран шли споры и строились гипотезы, как всегда после крупных научных открытий, но в остальном мир спокойно занимался своим делом (как занимаются своим делом обитатели швейцарских деревушек, живущие под постоянной угрозой лавины), словно возможное было невозможным, словно неизбежное удалось отвести только потому, что его наступление немного задержалось.

Только в 1953 году первый двигатель Холстена-Робертса поставил искусственно вызванную радиоактивность на службу

промышленному производству, заменив паровые турбины на электростанциях. Почти немедленно появился двигатель Дасса-Тата, создание двух бенгальцев, принадлежавших к той блестящей плеяде изобретателей, которую в ту эпоху породила модернизация индийской мысли. Он применялся главным образом для автомобилей, аэропланов, гидропланов и тому подобных средств передвижения. Затем быстрое применение нашел американский двигатель Кемпа, построенный на ином принципе, но столь же практичный, и двигатель Круппа-Эрлангера, так что к осени 1954 года во всем мире начался

гигантский процесс смены промышленных методов и оборудования. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить, насколько даже самые ранние и несовершенные из этих атомных двигателей были дешевле тех, которые они вытесняли. С учетом стоимости смазки пробег на машине, снабженной двигателем Дасса-Тата, обходился, после того как двигатель был запущен, всего в один пенс за тридцать семь миль, причем двигатель весил всего девять с четвертью фунтов. С его появлением тяжелые автомобили того времени, употреблявшие в качестве горючего спирт, стали казаться не только

невозможно дорогими, но и уродливыми. За последние полстолетия цена угля и всех форм жидкого топлива возросла настолько, что даже возвращение к ломовой лошади начинало казаться практически оправданным, и вот теперь с мгновенным исчезновением этой трудности внешний вид экипажей на дорогах мира разом преобразился. В течение трех лет безобразные стальные чудовища, которые ревели, дымили и грохотали по всему миру на протяжении четырех отвратительных десятилетий, отправились на свалку железного лома, а по дорогам теперь мчались легкие, чистые, сверкающие

автомобили из посеребренной стали. В то же самое время благодаря колоссальной удельной мощности атомного двигателя новый толчок получило развитие авиации. Теперь наконец к носовому пропеллеру, который был до этого единственной движущей силой аэроплана, удалось присоединить, не опасаясь опрокидывания машины, еще и хитроумный геликоптерный двигатель Редмейна, позволявший машине вертикально спускаться и подниматься. Таким образом, люди получили в свое распоряжение летательный аппарат, который мог не только стремительно мчаться вперед, но и неподвижно парить в воздухе и

медленно двигаться прямо, вверх или вниз. Последний страх перед полетами исчез. Как писали газеты той эпохи, началась эра «Прыжка в воздух». Новый атомный аэроплан немедленно вошел в моду. Все, у кого были на то деньги, стремились приобрести это средство передвижения, столь послушное, столь безопасное и позволявшее забыть о дорожной пыли и катастрофах. В одной только Франции за 1953 год было изготовлено тридцать тысяч этих новых аэропланов, которые, мелодично жужжа, увлекали в небо своих счастливых владельцев.

И с равной быстротой атомные

машины самых разнообразных типов
вторглись в промышленность.
Железные дороги выплачивали
огромные суммы за право первыми
ввести у себя атомную тягу, атомная
плавка металлов внедрялась с такой
поспешностью, что из-за неумелого
обращения с новой энергией
взорвалось несколько заводов, а
резкое удешевление как
строительных материалов, так и
электричества произвело настоящий
переворот в архитектуре жилых
домов, потребовав изменения всех
методов их постройки и отделки. С
точки зрения использования новой
энергии и с точки зрения тех, кто
изготавливал новые машины и

материалы для них, а также финансировал это производство, век «Прыжка в воздух» был веком исключительного процветания. Компании, которым принадлежали новые патенты, вскоре уже выплачивали пятьсот — шестьсот процентов дивидендов, и все те, кто был причастен к этому новому виду промышленности, приобретали сказочные богатства или получали колоссальное жалованье. Это процветание во многом объяснялось и тем фактом, что при производстве как двигателей Дассы-Тата, так и двигателей Холстена-Робертса одним из побочных продуктов было золото, смешанное с первичной пылью

висмута и вторичной пылью свинца, а этот новый приток золота, совершенно естественно, вызвал подъем цен во всем мире.

Эта лихорадочная предпринимательская деятельность, это устремление в небо богатых счастливых (теперь каждый большой город походил на муравейник, обитатели которого внезапно научились летать) составляли светлую сторону первого этапа новой эры в истории человечества. Но за этим блеском можно было различить сгущающуюся тьму, растущее отчаяние. Наряду с колоссальным развитием производства шло гигантское

уничтожение былых ценностей. Пылающие огнями фабрики, которые работали день и ночь, сверкающие новые автомобили, которые бесшумно мчались по дорогам, стаи стрекоз, которые парили и реяли в воздухе, — все это было лишь мерцанием ламп и огней, загорающихся, когда мир погружается в сумрак и ночь. За этим слепящим сиянием зрела гибель, социальная катастрофа. В ближайшем будущем ожидалось закрытие всех угольных шахт; огромные капиталы, вложенные в нефть, уже не могли быть реализованы; миллионы шахтеров, рабочих прежних сталелитейных

заводов, бесчисленное множество неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих в самых различных областях промышленности вышвыривалось на улицу, так как новые машины несли с собой гораздо большую производительность труда; быстрое падение стоимости перевозок губительно отражалось на цене на землю во всех густонаселенных областях; существующие дома обесценивались; золото стремительно дешевело; все виды обеспечения, на которые опиралась всемирная кредитная система, утрачивали былую надежность и незыблемость — банки были

накануне краха, на биржах царила паника — такова была изнанка блестящего фасада эпохи. Таковы были черные и чудовищные следствия «Прыжка в воздух».

Известен рассказ об обезумевшем лондонском биржевом маклере, который выбежал на Треднидл-стрит, раздирая на себе одежду.

— Стальной трест пускает на слом все свое оборудование! — кричал он. — Государственные железные дороги собираются отдать на слом все свои паровозы. Все идет на слом, все! Ломай Английский банк, ребята! Ломай его!

Число самоубийств в

Соединенных Штатах за 1955 год в четыре раза превзошло рекордную цифру всех прежних лет. Количество преступлений во всем мире также неизмеримо увеличилось. Человечество не было готово к тому, что произошло; казалось, человеческое общество разлетится вдребезги благодаря собственным великолепным достижениям.

Ведь этот процесс шел вслепую. Никто даже не пытался заранее установить, какие перемены может произвести этот неиссякаемый источник дешевой энергии в жизни планеты. В те дни мир вовсе не управлялся — в том смысле, в каком это слово стало пониматься позже.

Управление покорно следовало за событиями, вместо того чтобы планировать их; риторика, консерватизм, неслаженность, слепота, бездумность, творческое бесплодие — вот что характеризовало все правительства тех лет. Во всем мире, за исключением стран, еще сохранивших остатки абсолютизма, в которых властвовал придворный фаворит или доверенный слуга, управление находилось в руках касты законников — единственной касты, воспитывавшейся для этого и потому имевшей неоспоримое преимущество перед всеми другими. Получаемое ими профессиональное

образование и все даже самые мельчайшие детали той удивительно наивной избирательной системы, при помощи которой они добивались до власти, заставляли их презирать факты реальной жизни, страшиться всякого воображения, алчно гнаться за личной выгодой и подозревать заднюю мысль за любым благородным или великодушным поступком. Управление было тормозом в руках энергичных фракций, прогресс шел вне общественной деятельности и вопреки ей, а законодательство представляло собой запоздалое и до предела искаженное признание потребностей, настолько

настоятельных и неотложных, и фактов, настолько властно утвердившихся в действительности, что даже судьи в своем глухом уединении осознавали их появление, поскольку они уже начинали угрожать самому существованию политической машины, которая иначе не соблаговолила бы обратить на них ни малейшего внимания.

Мир управлялся настолько мало, что нам по-прежнему приходится рассказывать о нищете, голоде, злобе, хаосе, столкновениях и неизбывном страдании, несмотря на наступление изобилия, когда в распоряжении человечества оказалось все необходимое для удовлетворения его

потребности, все необходимое для осуществления его заветных целей и стремлений. Не существовало никакого плана для правильного распределения этого огромного нового богатства, которое наконец стало доступно людям, и никто даже не догадывался, что такое распределение возможно. Только охватив в целом картину этих первых лет новой эры, только сравнивая их с более поздним периодом, раскрывшим все, что было в них скрыто, можно постигнуть всю слепоту, всю узость, весь бессмысленный, тупой индивидуализм доатомного века. Ведь когда уже занималась заря

мощи и свободы, под небом,
озаренным надеждой, перед ликом
науки, которая, подобно
благодетельной богине, держала в
сильных руках над крошечным
мраком человеческой жизни
изобилие, мир, ответ на
бесчисленные загадки, ключи к
славнейшим деяниям, ожидая, пока
люди соблаговолят их взять, — мир
мог стать свидетелем такого
позорного зрелища, как судебное
разбирательство по делу о патенте
Дасса-Тата, — гнусной тяжбы из-за
величайшего ее дара.

В необычайно жаркие дни мая
1956 года в душном зале лондонского
суда, грязной продолговатой коробке,

знаменитейшие адвокаты тех лет, не жалея сил и голоса, доказывали (отдав свой талант в распоряжение сутяг, недовольных суммой причитающихся им процентов), что компания Дасса-Тата имеет право запретить применение методов Холстена-Робертса при использовании новой энергии. Собственно говоря, компания Дасса-Тата прилагала все усилия, чтобы обеспечить за собой всемирную монополию на атомные двигатели. Судья, как было принято в те времена, сидел на возвышении в нелепой мантии и огромном смешном парике. На адвокатах также были грязные парички и смешные

черные мантии, надетые поверх обычных костюмов (без этих париков и мантий они не имели права выступать в суде), а на засаленных деревянных скамьях ерзали и переговаривались хитрые помощники адвокатов, репортеры, что-то быстро царапавшие в своих записных книжках, истцы и ответчики, эксперты, заинтересованные стороны, пестрая смесь свидетелей, молодые, начинающие адвокаты (старательно запоминающие манеризмы наиболее почитаемых и воинственных представителей своей профессии) и чудаки зрители, по доброй воле сидевшие в этой темной дыре, хотя

на улице весело светило солнце. Все изнывали от жары, и адвокат, допрашивавший свидетеля, смахивал пот с толстой бритой верхней губы, а солнечные лучи, с трудом просачиваясь сквозь пыльное окно, тускло освещали эту картину алчных споров в душной атмосфере человеческих испарений. Присяжные сидели на двух скамьях, слева от судьи, и вид у них был такой же бесприютный, как у лягушек, свалившихся в мусорную яму. А адвокат допрашивал лгущего под присягой Дасса, который жаждал пожрать всю атомную энергию мира.

Холстен привык опубликовывать свои результаты, как только, по его

мнению, они оказывались достаточно интересными, чтобы послужить основой для дальнейшей работы. И вот эта его доверчивость и одно случайное изобретение, опиравшееся на чужое открытие, дали возможность ловкому Дассу предъявить свой иск.

Собственно говоря, в этот период множество подобных дельцов заявляли преимущественные права, присваивали, запатентовывали и монополизировали те или иные частности нового открытия, пытаясь подчинить эту колоссальную крылатую энергию удовлетворению своих жалких желаний и жадности. Этот процесс был одним из

множества подобных тяжб. На некоторое время мир охватила настоящая патентная лихорадка. Однако от остальных этот процесс отличало одно драматическое обстоятельство: в нем участвовал Холстен, который прождал у дверей суда два дня, словно нищий у дверей богача, а теперь, испытав всю меру пренебрежения судейских служителей и грубости полицейских, был наконец допущен в зал, допрошен как свидетель адвокатом и выслушал реприманд судьи, потребовавшего, чтобы он «не путал», в то время как он пытался говорить как можно точнее.

Судья почесал нос гусиным

пером и бросил из-под своего чудовищного парика насмешливый взгляд на удивленное лицо Холстена. Говорят, что этот Холстен — великий человек? Ну ничего, в суде великих людей умеют ставить на место.

— Мы хотим знать, добавил ли истец к этому что-нибудь свое или нет, — сказал судья. — Нас не интересуется ваше мнение о том, являются ли усовершенствования сэра Филиппа Дасса лишь незначительным приспособлением или развитием принципа, изложенного в вашей статье. Разумеется, вы, как и всякий изобретатель, считаете, что почти все изобретения, которые еще предстоит

сделать, будут лишь применением принципов, изложенных в ваших статьях. Разумеется, вы также считаете, что любые дальнейшие добавления и изменения могут быть только незначительными. Изобретатели всегда так считают. Суд это не интересуется. Суду нет дела до тщеславия изобретателей. Суд интересуется только вопросом, обладает ли указанный патент той новизной, на которую ссылается истец. Ну, а помешает или нет чему-либо ваше допущение — это, как и все прочее, что вы с излишним усердием наговорили вместо прямого ответа на заданный вам вопрос, не имеет никакого отношения к настоящему

делу; Мне в этом суде приходится постоянно изумляться тому, как вы, ученые, с таким самомнением претендующие на точность и правдивость, начинаете блуждать вокруг да около, стоит вам занять место свидетеля. Вы самая неприятная категория свидетелей. Вопрос, простой и ясный, заключается в том, добавил ли сэр Филипп Дасс что-либо реальное к знаниям и методам, уже существующим в этой области, или не добавил. Нас не интересует, велики или малы эти добавления, как не интересуют и последствия, к каким может привести ваше допущение. Это вам придется

предоставить на наше усмотрение.

Холстен молчал.

— Ну так как же? — спросил судья чуть ли не с жалостью.

— Нет, не добавил, — ответил Холстен, почувствовав, что на этот раз в виде исключения ему придется пренебречь бесконечно малой величиной.

— А... — сказал судья. — Почему же вы не могли ответить так сразу, когда вас спрашивал адвокат?..

Запись, внесенная в дневник-автобиографию Холстена пять дней спустя, гласит: «Все еще не могу прийти в себя от изумления. Закон — самое опасное, что только у нас есть. Он устарел на сотни лет. В нем нет

ни единой свежей мысли. Ветхий бочонок — и новое вино, способное разнести вдребезги и кое-что покрепче. Это кончится плохо».

Холстен был во многом прав, утверждая, что закон «устарел на сотни лет». Он действительно крайне устарел по сравнению с текущим развитием мысли и широко принятыми идеями. Несмотря на то, что почти вся материальная и духовная жизнь общества давно уже значительно изменилась, а теперь менялась с почти невероятной быстротой, суды и законодательные собрания во всем мире все еще отчаянно старались приспособить современные требования к процедурам, а также концепциям права, собственности, власти и

обязательств, которые восходили к грубым компромиссам времен, еще в значительной мере остававшихся варварскими. Собственно говоря, парики из конского волоса и шутовские наряды английских судей, их надменная манера держаться и грязные судебные помещения были лишь внешними, видимыми признаками гораздо более глубокого анахронизма. Законодательные и политические институты земного шара в середине двадцатого века повсюду представляли собой ставшее узким, но еще крепкое одеяние, теперь только стеснявшее тело, защитой которому оно некогда служило.

Однако тот же дух
свободомыслия и открытых
дискуссий, который в области
естественных наук знаменовал
начало покорения природы, уже
готовил на протяжении
восемнадцатого и девятнадцатого
веков зарождение нового мира в
дряхлеющем теле старого. В
литературе тех времен все более и
более ясно прослеживается мысль о
большем подчинении
индивидуальных интересов и
сложившихся институтов
коллективному будущему, и все чаще
тот или иной аспект юридической,
социальной и политической системы
начинает порождать критику и

протест. Уже в самом начале девятнадцатого столетия Шелли, не видя при этом никакого другого выхода, изобличает современных ему правителей мира как сынов хаоса, да и вся система идей и гипотез, известная под названием социализма, и особенно ее интернациональное учение, как ни слабы были ее позитивные утверждения и предсказания о методах перехода, является важным свидетельством развития концепции именно такого изменения внутренних отношений в человеческом обществе, которое должно было прийти на смену современной путанице идей,

основанных на праве собственности.

Слово «социология» было изобретено Гербертом Спенсером, пользовавшимся большой популярностью философа, который писал примерно в середине девятнадцатого века. Однако идея государства, планируемого на научной основе, как планируется система электрической тяги, получила широкое распространение только в двадцатом веке. Тогда в Америке, где народ устал от чудовищной, парализующей развитие общества системы двух партий, порожденной нелепым институтом их выборов, началось так называемое движение сторонников

«Современного государства», и плеяда блестящих писателей в Америке, Европе и на Востоке расшевелила воображение мира, рисуя перед ним картину еще невиданных по смелости перемен в социальной жизни общества, праве собственности, системе найма, образования и управления. Несомненно, эти представления о «Современном государстве» были отражением в социальной и политической мысли той гигантской революции материальной жизни, которая длилась уже двести лет, но в течение долгого времени они влияли на существующие институты не больше, чем творения Руссо и

Вольтера влияли на современные им институты в эпоху смерти последнего. Эти идеи роились в сознании людей, и требовался только такой социальный и политический кризис, который был вызван появлением атомных механизмов, чтобы они внезапно грубо и зримо воплотились в жизнь.

Книга «Годы странствий» Фредерика Барнета принадлежит к автобиографическим романам, особенно популярным в третьем и четвертом десятилетиях двадцатого века. Опубликована она была в 1970 году, и «годы странствий» следует понимать не буквально, а фигурально — в духовном и интеллектуальном смысле. Собственно говоря, это название — намек, возвращающий нас к «Вильгельму Мейстеру» Гете, написанному на полтора столетия ранее.

Автор книги, Фредерик Барнет, очень подробно описывает все, что с

ним происходило с девятнадцати до двадцати трех лет, и все свои раздумья и впечатления. Его нельзя назвать ни оригинальным, ни блестящим мыслителем, однако он обладал несомненным писательским даром, и, хотя до нас не дошло ни одного его портрета, из случайно оброненных там и сям фраз мы узнаем, что он был невысок ростом, широкоплеч, склонен к полноте, обладал «довольно пухлым» лицом и круглыми, несколько выпученными голубыми глазами. До финансового краха 1956 года он принадлежал к обеспеченному классу, учился в Лондонском университете, совершил полет на аэроплане в Италию, затем

прошел пешком от Генуи до Рима, по воздуху отправился в Грецию и Египет и вернулся на родину через Балканский полуостров и Германию. Все состояние его семьи, в основном вложенное в банковские акции, угольные шахты и доходные дома, погибло. Оставшись без гроша, он был вынужден искать какой-нибудь заработок. Ему пришлось очень нелегко, но тут началась война, и он год воевал — сперва как офицер английской пехоты, а потом в армии умиротворения. Его книга рассказывает обо всем этом так просто и в то же время так ярко, что все грядущие поколения могут с ее помощью увидеть годы Великой

Перемены глазами хотя бы одного из ее современников.

К тому же, как сообщает нам Барнет, он с самого начала был «инстинктивным» сторонником «Современного государства». Он дышал атмосферой этих идей в классах и лабораториях школы «Фонда Карнеги», чей легкий и изящный фасад протянулся по южному берегу Темзы напротив старинного Соммерсет-хауса, сумрачного и величественного. Подобные мысли составляли самую основу этой школы, одной из первых приступившей к возрождению образования в Англии. После обычных лет, проведенных в

Гейдельберге и Париже, он поступил на классический факультет Лондонского университета. Старинная система так называемого «классического» образования английских педагогов — пожалуй, наиболее парализующая, бесплодная и глупая из всех систем обучения, которые когда-либо обрекали людей на никчемное существование, — уже была изгнана из этого замечательного учреждения и заменена современной методикой. Благодаря этому Барнет научился читать и говорить по-гречески и по-латыни так же свободно, как по-немецки, по-испански и по-французски, и, изучая основы

европейской цивилизации, к которым эти древние языки служат ключом, он пользовался ими без малейших затруднений. (Эта перемена методики была еще так свежа, что Барнет счел нужным упомянуть о своей встрече в Риме с «оксфордским профессором», который «говорил» по-латыни, запинаясь на каждом слове и с уилтширским акцентом, писал письма по-гречески, помогая себе кончиком языка, и считал любую греческую фразу либо заклинанием — когда она была цитатой, либо непристойностью — когда она цитатой не была.)

На глазах Барнета с английских

железных дорог исчезли паровозы и лондонский воздух постепенно очистился, так как дымные угольные камины уступили место электрическому отоплению. Лаборатории в Кенсингтоне тогда еще только строились, и он принимал участие в студенческих бунтах, которые задержали снос памятника принцу Альберту. Он нес знамя, на одной стороне которого было написано: «Мы любим смешные скульптуры», — а на другой: «Требуем тронов и балдахинов для статуй! Почему наши великие покойники должны мокнуть под дождем и мокнуть стоя?». На авиационном поле своего

университета в Сайденхеме он изучал авиацию, которая в те годы была довольно атлетическим занятием, и его оштрафовали за то, что он пролетел над новой тюрьмой для политических диффаматоров в Уормвуд Скрабс «в манере, рассчитанной на увеселение заключенных, находившихся в тот момент на прогулке». Это были годы, когда подавлялись малейшие попытки критиковать судопроизводство, и тюрьму переполняли журналисты, которые посмели указать на помешательство верховного судьи Абрахэмса. Барнет был не очень хорошим авиатором. Он признается, что всегда немножко

побаивался своего аппарата (надо сказать, эти неуклюжие первые машины могли внушить страх кому угодно) и никогда не проделывал быстрых спусков и не летал на большой высоте. Кроме того, как он сообщает, у него был один из тех снабженных нефтяным двигателем велосипедов, сложность и необычайная неопрятность которых поражают теперь посетителей музея машин в Южном Кенсингтоне. Он упоминает о том, как переехал собаку, и жалуется на разорительные цены «куриного филе» в Суррее; «Куриным филе» на жаргоне, очевидно, назывались раздавленные куры.

Он сдал экзамены, что сводило срок его военной службы до минимума, а отсутствие у него специального научного или технического образования и ранняя полнота, сильно мешавшая его занятиям авиацией, привели к тому, что он проходил военное обучение в линейной пехоте. Это был наиболее общий род войск. Развитие военной теории за предшествовавшие десятилетия не опиралось на практический опыт. Последние войны велись во второстепенных или нецивилизованных государствах против почти не обученных крестьян или дикарей, и современные орудия войны совершенно не пускались в

ход. Великие мировые державы по большей части сохранили армии, в общих чертах построенные по системе, порожденной традициями европейских войн тридцати — сорока летней давности. В состав этих армий входила пехота, в которой и служил Барнет, ей полагалось сражаться в пешем строю с винтовкой и быть основой вооруженных сил, а также кавалерия (конные солдаты), численность которой по отношению к пехоте была определена по опыту франко-германской войны 1871 года, и, наконец, артиллерия, причем по какой-то необъяснимой причине большинство орудий по-прежнему

возили лошади, хотя во всех европейских армиях имелось незначительное количество моторных пушек с колесами такой конструкции, что они могли передвигаться по неровной почве. Кроме того, значительное развитие получили технические войска — моторные транспортные части, разведчики на мотоциклетах, авиация и тому подобное.

Никого не заботило отсутствие крупных военных мыслителей, способных заняться проблемой ведения войны при помощи новых средств и в современных условиях, зато целый ряд сменявших друг друга деятельных юристов — лорд

Холдейн, верховный судья Бриггс и знаменитый адвокат Филбрик — так часто и так основательно реорганизовывали армию, что в конце концов с введением обязательной воинской повинности превратили ее в силу, которая показалась бы весьма внушительной публике 1900 года. Британская империя могла теперь в любой момент выставить на шахматную доску мировой политики миллион с четвертью вымуштрованных солдат. Традиции японской и центральноевропейских армий по-прежнему больше опирались на былую феодальную доблесть, нежели на юриспруденцию; Китай

продолжал решительно отказываться стать военной державой и содержал по американскому образцу лишь небольшую регулярную армию — по слухам, относительно весьма боеспособную; Россия же, правительство которой в страхе перед внутренней критикой соблюдало строжайшую экономию, с начала столетия едва ли изменила хотя бы покрой мундира какого-либо из полков или штатный состав батареи. Барнет не скрывает, что был крайне невысокого мнения о военном обучении, которое проходил. К тому же, как поклонник «Современного государства», он видел в этом обучении только

скучную и ненужную обязанность, а его здравый смысл подсказывал, что оно совершенно бесполезно. Кроме того, привычка к комфорту делала его особенно чувствительным к трудностям и неудобствам военной службы.

«Три дня подряд нас подымали до зари и без видимой причины оставляли без завтрака, — рассказывает он. — Я полагаю, таким способом нам показывают, что в Роковой День нам прежде всего постараются доставить как можно больше неудобств и неприятностей. Затем мы приступили к маневрам, согласно неисповедимым идеям тех, кому мы подчинены. В последний

день мы три часа шли под жарким, хотя и утренним солнцем, проделав восемь миль по полям и болотам, чтобы добраться до пункта, до которого в моторном омнибусе можно было бы доехать за девять с половиной минут, как я убедился на следующий день. Затем мы бросились массовой атакой на окопы „противника“, который мог бы, не торопясь, трижды перестрелять нас всех до единого, если бы посредник это позволил. Затем последовала небольшая игра со штыками, но, боюсь, я не настолько варвар, чтобы воткнуть этот длинный нож во что-либо живое. Впрочем, в этой битве мне и

не во что было бы его втыкать. Предположим даже, что каким-нибудь чудом я не был бы трижды прострелен, тем не менее, когда я добрался до окопа, я так задыхался и устал, что был не в силах даже поднять эту мерзкую винтовку. Втыкать начал бы противник...

Некоторое время за нами следили два неприятельских аэроплана; затем подлетели наши и попросили, чтобы они этого не делали. Но (поскольку приемы воздушной войны пока еще никому не известны) они очень вежливо отказались, отлетели в сторону и принялись самым очаровательным образом нырять и кружить над

Фоксхиллс».

Барнет пишет о своем военном обучении только в этом насмешливо-полувозмущенном тоне. Он считал, что ему вряд ли доведется участвовать в какой-нибудь настоящей войне, а уж если все-таки и доведется, то она, несомненно, будет настолько непохожа на эти мирные маневры, что останется только один разумный выход: как можно старательнее укрываться от опасности, пока не удастся изучить все приемы и возможности, которыми будут чреваты новые условия. Он заявляет это совершенно откровенно. Показной героизм был ему абсолютно чужд.

Барнет, как всякий юноша, радовавшийся любому изобретению в области механики, приветствовал появление атомного двигателя с большим жаром и первое время, по-видимому, не связывал новые, совершенно необычайные возможности, внезапно открывшиеся людям, с финансовыми невзгодами своей семьи.

«Я знал, что мой отец чем-то обеспокоен», — признается он. Но это лишь в самой ничтожной степени омрачило его восхитительное путешествие в Италию, Грецию и Египет, предпринятое им с тремя

добрыми друзьями, в летательном аппарате совершенно новой, атомной модели. Барнет упоминает, что они пролетели над островами Ла-Манша, над Туренью, описали спираль вокруг Монблана («Мы убедились, — пишет он, — что эти новые аэропланы в отличие от прежних совершенно не боялись воздушных ям») и через Пизу, Пестум, Гиргенти и Афины прилетели в Каир, чтобы полюбоваться пирамидами при лунном свете, а оттуда отправились дальше вдоль Нила до Хартума. Такая каникулярная поездка могла показаться увлекательной для любого молодого человека даже в более поздние времена, но тем тяжелее

был для Барнета ожидавший его удар. Отец Барнета, который в ту пору был уже вдовцом, через неделю после возвращения сына объявил себя банкротом и отравился.

И сразу Барнет оказался вышвырнутым из класса, к которому он до сих пор принадлежал, — класса собственников, тратящих деньги и наслаждающихся жизнью, оказался без гроша в кармане и без профессии. Он попробовал давать уроки, попробовал писать статьи и очень скоро познакомился с теневой стороной того мира, в котором, как он раньше полагал, его ждали только солнечный свет и тепло. Испытания такого рода привели бы большинство

людей к полному душевному краху, но Барнет, несмотря на его изнеженность и привычку к комфорту, в трудную минуту доказал, что он скроен из самого крепкого современного материала. Он был пропитан творческой стойкостью тех героических времен, заря которых уже занималась, и мужественно встретил свои затруднения и беды, превратив их в источник жизненного опыта.

В своей книге он даже благодарит за них судьбу.

«Я мог бы жить и умереть, — говорит он, — там, в этом иллюзорном раю сытого довольства. Я мог бы никогда не познать

нарастающий гнев и скорбь
обездоленных и отчаявшихся масс. В
дни моего благополучия мне
казалось, что мир устроен
прекрасно». Теперь, по-новому
взглянув на вещи, он увидел, что этот
мир вообще никак не устроен, что
управление государством — это
смесь насилия, власти и
попустительства, а закон —
компромисс между
противоположными интересами, и
что у того, кто беден и слаб, имеется
много равнодушных хозяев, но мало
друзей.

«Я думал, что общество
заботится о благе всех людей, —
писал он. — И когда я голодный

бродил по дорогам, меня сначала очень удивляло, что до этого никому нет никакого дела».

Ему отказали от квартиры, которую он снимал на окраине Лондона.

«С немалым трудом удалось мне убедить мою хозяйку — она была вдова и сама очень нуждалась, бедняжка, а я уже успел ей порядком задолжать, — сохранить для меня мою старую шкатулку, в которую я спрятал несколько писем, кое-какие вещицы, дорогие мне по воспоминаниям, и тому подобные мелочи. Бедная женщина отчаянно боялась инспекторов Общественного Здравоохранения и Нравственности,

потому что временами у нее не хватало денег, чтобы откупиться от них обычной взяткой, но в конце концов она все же согласилась спрятать мою шкатулку в укромном местечке под лестницей, после чего я отправился искать по свету счастья, то есть прежде всего пропитания, а затем и крова».

Он забрел в шумные богатые кварталы Лондона, где лишь около года назад и сам был полноправным членом праздной толпы искателей развлечений.

После издания Закона Против Дыма, каравшего штрафом выпуск в воздух по какой бы то ни было причине любого видимого глазом

дыма, Лондон перестал быть прежним мрачным, закопченным городом времен королевы Виктории; он непрерывно перестраивался, и его главные улицы уже приобретали тот вид, который стал так для них характерен во второй половине двадцатого столетия. Антисанитарная лошадь, так же как плебейский велосипед, были изгнаны с мостовых, покрытых теперь упругой стекловидной массой, сверкавших безупречной чистотой, пешеходам оставили лишь узкую полосу от былых широких тротуаров по обеим сторонам проезжей части, пересекать которую им воспрещалось под страхом

штрафа, взимавшегося в тех случаях, когда нарушителю удавалось уцелеть. Люди выходили из своих автомобилей на тротуар и через магазины нижних этажей попадали к лифтам и лестницам, ведущим к новым переходам для пешеходов, носившим название «галерей» и тянувшимся по фронтонам домов на высоте второго этажа; соединенные бесчисленными мостиками, эти галереи придавали новым кварталам Лондона странное сходство с Венецией. На некоторых улицах сами галереи были двух— и даже трехэтажными. Всю ночь и большую часть дня витрины магазинов сияли электрическим светом, и, чтобы

увеличить их число, многие магазины устраивали в своих помещениях поперечные галереи для пешеходов.

В этот вечер Барнет с некоторой опаской шел по галереям, ибо полиция имела право остановить любого бедно одетого человека и потребовать, чтобы он предъявил Трудовое Свидетельство, и, если из этого документа не явствовало, что вышеозначенное лицо имеет работу, полицейский мог отослать его вниз — на остатки тротуара вдоль мостовой.

Впрочем, от этой участи Барнета спасал некоторый налет аристократизма, который еще

сохранила его внешность; к тому же у полиции в тот вечер было достаточно других забот, и он благополучно добрался до галерей, опоясывавших Лейстер-сквер — сердце Лондона и средоточие его развлечений.

Барнет довольно живо описывает, как выглядела тогда эта площадь. В центре помещался сквер, поднятый над землей на аркадах, своды которых сверкали огнями; восемь легких мостиков соединяли сквер с галереями, а внизу жужжали пересекающиеся потоки машин, устремлявшиеся то в одном, то в другом направлении. А вокруг высились скорее причудливые, чем прекрасные фасады зданий из

небьющегося фарфора, испещренные
огнями, исполосованные режущей
глаза световой рекламой,
сверкающие, отражающие весь свет,
все огни. Здесь находились два
старинных мюзик-холла,
шекспировский мемориальный театр,
где муниципальные актеры
неустанно повторяли один и тот же
цикл шекспировских пьес, и еще
четыре огромных здания с
ресторанами и кафешантанами, чьи
острые, ярко освещенные шпили
уходили в голубой мрак. Только
южная сторона площади
представляла резкий контраст со
всем, что ее окружало: она еще
продолжала перестраиваться, и над

зияющими провалами, возникшими на месте исчезающих викторианских зданий, поднимались регаетчатые переплеты стальных ферм, увенчанные подъемными кранами, застывшими в воздухе, словно простертые ввысь лапы какого-то чудовища.

Этот каркас здания настолько приковал к себе внимание Барнета, что он на мгновение забыл обо всем на свете. В нем была каменная неподвижность трупа, мертвящая тишина, бездействие; не было видно ни единого рабочего, и все механизмы стояли без дела. Но шары вакуумных фонарей заполняли все просветы трепещущим, зеленовато-

лунным сиянием и казались настороженными в самой своей неподвижности, словно солдаты на часах.

Он обратился с вопросом к одному из прохожих и узнал, что в этот день рабочие забастовали в знак протеста против применения атомного механического клепальщика, что должно было удвоить производительность труда и вдвое сократить число рабочих.

— Нисколько не удивлюсь, если они пустят в ход бомбы, — сказал Барнету его собеседник и, помедлив немного, пошел дальше к мюзик-холлу «Альгамбра».

Барнет заметил оживление возле

газетных киосков, расположенных по углам площади. На огненных транспарантах мелькали какие-то сенсационные сообщения. Забыв на миг о том, как пусты его карманы, Барнет направился к мостику, чтобы купить газету. В те дни газеты, печатавшиеся на тонких листах фольги, продавались только в определенных пунктах и для продажи их требовался специальный патент. Не дойдя до середины мостика, Барнет остановился, заметив, что в уличном движении произошла перемена: с удивлением он наблюдал, как полицейские сигналы очищают одну сторону проезжей части от транспорта. Но,

подойдя ближе к транспарантам, заменившим собой афишки викторианской эпохи, он прочел, что Большая Демонстрация Безработных уже движется через Вест-Энд, и таким образом, не потратив ни пенса, понял, в чем дело.

Вскоре, как он рассказывает в своей книге, появилась эта процессия, которая возникла стихийно, подобно походам безработных в былые времена, и которой полиция по каким-то причинам решила не препятствовать. Барнет ожидал увидеть неорганизованную толпу, но в приближавшейся мрачной процессии был какой-то своеобразный угрюмый

порядок. Людская колонна, казавшаяся бесконечной, двигалась по мостовой мерным, тяжелым шагом, на ней лежал отпечаток безысходной безнадежности. Барнет пишет, что его охватило желание присоединиться к ним, но все же он остался только зрителем. Это была грязная, обтрепанная толпа чернорабочих, знакомых лишь с устарелыми формами труда, уже вытеснявшимися более современными. Процессия несла плакаты с освященным временем лозунгом: «Нам нужна работа, а не подачки!». Только эти плакаты и оживляли ее ряды.

Демонстранты не пели, они

даже не переговаривались друг с другом; в их поведении не было ничего вызывающего, ничего воинственного; они не преследовали никакой определенной цели, они просто маршировали по самым богатым кварталам Лондона, чтобы напомнить о себе. Они были частицей той огромной массы дешевой, неквалифицированной рабочей силы, которую теперь вытеснила еще более дешевая механическая сила. Им приходил конец, как пришел конец лошади.

Барнет перегнулся через перила мостика, наблюдая за ними; бедственное положение, в котором он сам находился, обострило его

восприятие. Сперва это зрелище не пробудило в нем, по его словам, ничего, кроме отчаяния. Что надо сделать, что можно сделать для этих избыточных масс человечества? Они были так явно бесполезны... Так ни на что не пригодны... Так жалки.

Чего они просят?

Они были застигнуты врасплох непредвиденным. Никто не предугадал...

И внезапно Барнету стало ясно, что означала эта с трудом волочащая ноги бесконечная процессия. Это был протест против непредвиденного, мольба, обращенная к тем, кому больше посчастливилось, кто оказался

мудрее и могущественнее... Мольба о чем? О разуме. Эта безмолвная масса, тяжело бредущая ряд за рядом, выражала свой протест тем, другим, кто должен был предвидеть возможность подобных потрясений... Так или иначе, они обязаны были это предвидеть... и все уладить...

Вот что смутно чувствовали эти человеческие обломки, вот что выражал их немой протест.

«Все это открылось мне, словно вдруг свет вспыхнул в темной комнате, — говорит Барнет. — Эти люди возносили мольбы к таким же людям, как они сами, как когда-то они обращались к богу! Человеку

труднее всего отказаться от веры. И они перенесли эту веру на человечество. Они приписывали обществу собственные живые черты. Они все еще верили, что где-то существует разум — пусть даже равнодушный, пусть даже враждебный... Нужно только тронуть его, пробудить его совесть, заставить его действовать... А я увидел, что *пока еще такого разума не существует*, мир еще ожидал его появления. Я знал, что этот разум еще должен быть создан, что эта воля к добру и порядку еще должна быть собрана воедино из тех крох доброжелательности, благородных побуждений и всего, что есть

прекрасного и созидательного в наших душах, — собрана по песчинкам во имя общей цели... Все это еще должно было возникнуть...»

Не характерно ли для расширившегося кругозора тех лет, что этот довольно обычный молодой человек, который в любую из предшествующих эпох, вероятно, был бы погружен в заботы о своем личном благополучии, оказался способным раздумывать подобным образом над нуждами человечества и делать обобщения?

Однако над диким хаосом противоречий и непомерного напряжения, в котором жило тогда человечество, уже забрезжила заря

новой эры. Дух человека вырывался — да, он начинал вырываться уже тогда — из оков крайнего индивидуализма. Спасение от жестокой власти эгоизма, к которому в течение тысячелетий призывали все религии, которого люди искали в умерщвлении плоти, в пустынях, в экстатических состояниях и на других неисчислимых путях, приходило, наконец, само собой, как нечто естественное и неизбежное, воплощаясь в беседах, в газетах, в книгах, в бессознательных поступках, в повседневных заботах и обыденных делах. Широкие горизонты и чудесные возможности, которые открывал людям дух

исканий, увлекали их, побеждали в них древние инстинкты, устоявшие даже против угрозы ада и вечных мучений. И вот этот юноша, бездомный, не знавший, что с ним будет через несколько часов, мог среди ослепительных, затмевающих блеск звезд неистовых призывов к бездумному наслаждению размышлять перед лицом социального бедствия, нищеты и растерянности так, как он нам об этом сообщает.

«Я отчетливо постигал жизнь, — пишет он. — Я видел гигантскую задачу, стоящую перед нами, и неимоверная трудность ее, великолепие ее сложности

приводили меня в экстаз. Я видел, что нам еще предстоит научиться управлять обществом, создать образование, без которого невозможно никакое разумное управление, и понимал, что весь этот мир (в котором моя собственная жизнь была лишь крохотной песчинкой), весь этот мир и его вчерашний день — Греция, Рим, Египет — ничто, лишь пыль, взметенная в начале бесконечного пути, лишь первое движение и неясное бормотание спящего, который вот-вот должен пробудиться...»

А затем с подкупающей простотой он повествует, как спустился с облаков своих пророческих видений на землю.

«Тут я очнулся и почувствовал, что замерз и что у меня начинает сосать под ложечкой».

Тогда он вспомнил про «Бюро Пособий Джона Бернса», помещавшееся на набережной Темзы, и направился туда — сначала по галереям книжных магазинов, затем — через Национальную Галерею, уже более двенадцати лет открытую и днем и ночью для всех прилично одетых людей, затем —

через розарий Трафальгарской площади и, наконец, — вдоль колоннады отелей на набережную. Он давно слышал про это замечательное Бюро, очистившее лондонские улицы от последних нищих, продавцов спичек и прочих попрошаек, и верил, что легко получит там ужин и ночлег, а возможно, и указание, где найти работу.

Но он забыл о демонстрации, свидетелем которой только что был. Добравшись до набережной, он увидел, что помещение Бюро осаждает огромная беспорядочная толпа. Растерянный и обескураженный, он некоторое

время бродил вокруг, не зная, что делать, а затем заметил в толпе какое-то движение: людской ручеек растекался под аркадами огромных зданий, построенных здесь после того, как все вокзалы были перенесены на южный берег реки, а оттуда — в закрытые галереи Стрэнда. И там, под яростным светом полночных фонарей, он увидел безработных, просивших милостыню — и даже не просивших, а просто требовавших ее у людей, выходивших из дверей бесчисленных маленьких театров или других увеселительных заведений, которыми изобиловала эта улица.

Барнет не верил своим глазам.

Ведь все нищие исчезли с лондонских улиц уже четверть века назад. Но в эту ночь полиция, по-видимому, не хотела или не могла изгнать обездоленных, запрудивших благоустроенные кварталы города. Полицейские были слепы и глухи ко всему, кроме открытых драк и бесчинства.

Барнет пробирался сквозь толпу, но не находил в себе силы попросить подаяния, и, должно быть, вид его был куда более благополучен, нежели его обстоятельства, ибо, говорит он, у него даже дважды попросили милостыню. Неподалеку от цветника на Трафальгарской площади какая-то одиноко прогуливавшаяся взад и

вперед девица с наруганными щеками и насурмленными бровями окликнула его с профессиональным кокетством.

— Мне самому есть нечего, — резко ответил он.

— Бедняжка! — сказала девушка и, оглянувшись по сторонам, в порыве великодушия, не столь уж редкого у представительниц ее ремесла, сунула ему в руку серебряную монетку...

Такого рода дар, невзирая на имевший уже место прецедент с Де Куинси, мог по законам того времени познакомить Барнета с тюремной решеткой и плетью. Однако он признается, что принял его, от души

поблагодарил девушку и пошел
дальше, радуясь, что может купить
себе еды.

Дня два спустя Барнет покинул город; и то, как он свободно бродил, где ему вздумается, лишний раз подтверждает, что нарушение установленного общественного порядка все возрастало и полиция была в замешательстве.

В этот век плутократии, рассказывает Барнет, дороги «обносились колючей проволокой, чтобы лишить неимущих свободы передвижения», и он не мог никуда свернуть с узкого пыльного шоссе, так как повсюду высились ограды, за которыми скрывались сады, и везде висели грозные таблички,

запрещавшие проезд и проход. А по воздуху в своих летательных аппаратах, не обращая ни малейшего внимания на царящую вокруг нужду, проносились счастливые обладатели богатства — совершенно так же, как летал он сам всего два года назад, — и по дороге мчались автомобили этой эпохи — легкие, стремительные, неправдоподобно великолепные. Их пронзительные свистки, сирены или гонги оглушали прохожих — от них нельзя было спастись даже на полевых тропинках или на вершинах холмов.

Чиновники на бирже труда были измучены и раздражены, ночлежные дома забиты до отказа, и вез

оставшиеся без крова лежали бок о бок под навесами или просто под открытым небом, а так как оказание помощи бездомным каралось с некоторых пор законом, нельзя уже было ни обратиться к редким прохожим, ни постучаться в придорожный коттедж...

«Но я не был возмущен, — говорит Барнет. — Я видел безграничный эгоизм, чудовищное безразличие ко всему, кроме наслаждения и стяжательства, у тех, кто был наверху, но я видел также всю неизбежность этого, понимал, как неотвратимо произошло бы то же самое, если бы богачи и бедняки поменялись местами. Чего же еще

можно было ожидать, если люди использовали и науку и любое новое открытие, которое она им приносила, и весь свой ум и всю свою энергию лишь для того, чтобы приумножать богатства и жизненные удобства, а формы правления и образования коснели в рамках давно отживших свой век традиций? Традиции же эти были унаследованы от темной эпохи средневековья, от тех времен, когда материальных благ еще действительно не хватало на всех и жизнь была свирепой борьбой за существование, которую могли замаскировать, но избежать которой не могли. И вот из этой современной дисгармонии между материальным и

духовным развитием как неизбежное следствие возникла эта жажда присвоения, это яростное стремление обездолить других. Богач тупел, а бедняк дичал и озлоблялся, и каждая новая возможность, открывавшаяся перед человечеством, делала богача все более богатым, а бедняка — все менее необходимым и поэтому менее свободным. Люди, которых я встречал в ночлежках и в Бюро, где им выдавали пособие, говорили о несправедливости, о возмездии, в них тлел бунт. Но эти разговоры не вселяли в меня надежды, я знал, что изменить что-то может только терпение».

Но Барнет имел в виду не

пассивное терпение и покорность. Он считал, что идеальная форма социального преобразования еще не найдена, и потому никакое преобразование не может быть эффективным, пока эта крайне сложная и запутанная проблема не будет разрешена во всех ее аспектах.

«Я пытался говорить с этими недовольными, — пишет он, — но им трудно было взглянуть на вещи моими глазами. Когда я говорил им о терпении и о преобразованиях более широкого масштаба, они отвечали: „Но ведь к тому времени мы все умрем“, — и я не мог заставить их понять то, что мне самому казалось таким простым, понять, что это к

делу не относится. Люди, которые мыслят только в масштабах собственного существования, не годятся для государственной деятельности».

Барнет во время своих блужданий, по-видимому, не читал газет, а случайно бросившийся ему в глаза транспарант над газетным киоском в Бишоп Стротфорд, возвещавший: «Международное положение становится угрожающим», не особенно его взволновал. Международное положение уже столько раз становилось угрожающим за последние годы!

На этот раз речь шла о том, что

державы Центральной Европы
неожиданно начали военные
действия против Союза Славянских
Стран, а Франция и Англия готовятся
прийти на помощь славянам.

Но в следующий же вечер он
обнаружил, что в ночлежке кормят
сытно, и надзиратель сообщил ему,
что завтра утром все
военнообязанные будут отосланы в
их мобилизационные участки.
Страна находилась на грани войны.
Барнету пришлось вернуться в
Лондон и оттуда в Суррей. Первое,
что он испытал при этом сообщении,
пишет он, было чувство огромного
облегчения: кончились дни
«бессмысленного блуждания среди

изгоев цивилизации». Теперь ему предстояло заниматься чем-то определенным и о нем будут заботиться. Но чувство облегчения сильно потускнело, когда он увидел, что мобилизация проводится столь торопливо и столь небрежно, что во временных казармах в Эпсоме он в течение почти тридцати шести часов не получал ни еды, ни питья — только кружку холодной воды. Эта импровизированная казарма не была абсолютно ничем снабжена, но никто не имел права из нее отлучаться.

Часть вторая

«Последняя война»

Тем, кто живет при разумном и прогрессивном социальном устройстве, нелегко понять и неинтересно исследовать причины, которые привели человечество к войне, разыгравшейся около середины двадцатого века и затянувшейся на целые десятилетия.

Нельзя упускать из виду, что политическое устройство мира в те годы решительно повсюду необычайно отставало от уровня знаний, накопленных обществом. Это наиболее характерная черта того времени. На протяжении двухсот лет не происходило никаких

существенных изменений ни в законодательстве, ни в методах управления государством, ни в политических правах и обязанностях граждан; наиболее крупные перемены сводились к некоторому изменению границ и небольшим административным реформам, хотя во всех остальных областях жизни происходили коренные революции: осуществлялись грандиозные открытия, необычайно расширялся кругозор, открывались невиданные перспективы. Нелепые процедуры судопроизводства и унижительная система представительного парламента в соединении с неограниченными возможностями,

открывавшимися в других областях деятельности, заставляли лучшие умы современности все больше и больше отходить от общественной деятельности. В двадцатом столетии с правительствами мира произошло то же, что в свое время произошло с религиями. Им приходилось пользоваться услугами только малоспособных посредственностей. Как со второй половины семнадцатого столетия мир не знал великих духовных пастырей, так после первых десятилетий двадцатого века он не знал великих государственных деятелей. Повсюду бразды правления попадали в руки энергичных, честолюбивых,

недальновидных, ограниченных людей, упрямо не желавших видеть открывшихся перед человечеством новых возможностей и слепо цеплявшихся за устарелые традиции.

Среди этих устарелых традиций особую опасность таили в себе, пожалуй, границы различных «суверенных держав», а также концепция общего превосходства какого-либо одного государства над другими. Воспоминание о великих империях прошлого — об Александре Македонском и Риме — кровожадным, несатым призраком жило в умах людей, воспаляя их воображение; словно ядовитый паразит, оно язвило мозг, рождая

бредовые представления и бешеные замыслы. Более ста лет Франция истощала свои жизненные силы в военных конвульсиях, затем той же болезнью заболели немцы, чьи страны были расположены в самом сердце Европы, а потом — славяне. Последующим столетиям выпало на долю собрать и забыть обширную, лишенную всякого здравого смысла литературу, отражающую эту манию: сложные, запутанные договоры, тайные соглашения, безграничную изворотливость политических писателей, стратегические ухищрения, тактические уловки, умелое нежелание признавать простые, очевидные факты,

протоколы, приказы о мобилизациях и контрмобилизациях. Все это стало казаться невероятным почти сейчас же, как только перестало существовать, и тем не менее уже на заре новой эры эти государственных дел мастера все еще сидели при своих средневековых свечах и, стараясь не замечать непривычный для них новый яркий свет, его удивительные отблески и тени, все еще продолжали пререкаться, перекраивая карту Европы и всего мира.

Было бы нелегко выяснить, в какой мере миллионы мужчин и женщин, не принадлежавшие к миру профессиональных политиков,

сочувствовали их зловещей деятельности и одобряли ее. Одна школа психологов склонна сводить их участие к минимуму, но, суммируя все факты, приходится признать, что призывы воинствующего авантюриста находили отклик в массах. Первобытный человек был свирепым и агрессивным животным; бесчисленные поколения от рождения до могилы жили в условиях непрерывной войны между племенами, и власть преданий, истории, воспитанных веками идеалов в верности своему государю и своей стране — все это создавало благодарную почву для подстрекательских речей

международного авантюриста. Политические убеждения среднего человека возникали случайно и стихийно, образование, которое он получал, ни в какой мере не подготавливало его к роли гражданина, да и само понятие гражданственности возникло, в сущности, лишь с развитием идеи Нового Государства, и потому заполнить эту пустоту в его мозгу рядом преувеличенной подозрительности и бессмысленного шовинизма было сравнительно несложным делом.

Барнет рассказывает, например, что лондонская толпа бурно выражала свои патриотические

чувства, когда его батальон проходил по улицам Лондона перед отправкой на французскую границу. Женщины и дети, старики и подростки, говорит он, кричали «ура», приветствуя их; улицы и галереи были увешаны флагами союзных держав, и даже нищие и безработные проявляли подлинный энтузиазм. Бюро Труда были частично преобразованы в пункты записи добровольцев, и там тоже царило возбуждение — у обоих концов Ламаншского туннеля все были охвачены патриотическим пылом. Всюду, где только можно было примоститься, стояли толпы восторженных людей, и настроение в полку Барнета, несмотря на

некоторые зловещие предчувствия, было весьма воинственное.

Однако весь этот энтузиазм был мыльным пузырем и не опирался ни на какие твердые убеждения; у большинства, говорит Барнет, как и у него самого, он был лишь бессознательным откликом на воинственные вопли и песни, колыхание знамен, ритм совместного движения, волнующее, смутное предчувствие опасности. К тому же люди были настолько подавлены вечной угрозой войны и приготовления к ней, что, когда она началась, они даже почувствовали облегчение.

По стратегическому плану союзных держав защиту реки Маас в ее нижнем течении возложили на английские: войска, и военные эшелоны шли из разных концов Англии прямо в Арденны, где они должны были занять оборонительные рубежи.

Большинство документов, которые могли бы осветить ход кампании, безвозвратно погибло во время войны, но, очевидно, все с самого начала пошло не так, как рассчитывали союзники; во всяком случае, весьма вероятно, что существенной частью

первоначального плана являлось создание в этом районе воздухоплавательного парка, чтобы наносить удары по индустриальной области нижнего Рейна, а также осуществить фланговый прорыв через Голландию на военно-морские базы немцев, сосредоточенные в устье Эльбы. Барнету и его роте — пешкам на шахматной доске — планы командования были, конечно, неведомы, им надлежало только выполнять то, что прикажут таинственные силы, руководившие всем из Парижа, куда переехал и английский генеральный штаб. До самого конца армия так и не узнала, кто, собственно, скрывался за теми

«приказами», которые руководили всеми ее действиями. Не было ни Наполеона, ни Цезаря, который мог бы стать символом всеобщего героического порыва. Барнет пишет:

«Мы говорили о „них“: *«Они посылают нас в Люксембург. Они намереваются преобразовать Центральную Европу».*

Тем временем скрытая за этой дымкой неопределенности небольшая группа более или менее достойных людей, составлявших главный штаб командования, начинала понимать грандиозность того, чем ей предстояло руководить...

В огромном зале Военного

Руководства, выходившем окнами на Сену напротив Трокадеро и дворцов западной части города, на столах были разложены крупномасштабные рельефные карты; они давали полное представление о театре военных действий, и штабные офицеры в соответствии с сообщениями, поступавшими в расположенные в соседних помещениях телеграфные бюро, непрерывно переставляли на этих картах небольшие фигурки, изображавшие сражающиеся войска. В других, меньшего размера, залах находились менее подробные карты, на которых отмечались, по мере их получения, сообщения другого рода, поступившие, например, из

английского адмиралтейства или от командования славянских государств. На всех этих картах, словно на шахматных досках, маршал Дюбуа вместе с генералом Виаром и графом Делийским готовился сыграть с Центральными Европейскими Державами грандиозную партию, призом за которую было мировое господство. Весьма вероятно, он точно знал, как он будет играть; весьма вероятно, что у него был превосходный, детально разработанный план.

Однако, строя свои расчеты, он не учел ни попой стратегии, родившейся вместе с авиацией, ни возможностей, заложенных в

атомной энергии, которую Холстен сделал доступной для человечества. В то время, как он разрабатывал планы укрепленных рубежей, наступлений и войны на границах, генералитет Центральных Европейских Держав готовил сокрушительный удар, который должен был ослепить противника и парализовать его мозг. И в то время как не без некоторой неуверенности и колебания он уточнял в эту ночь свой гамбит в соответствии с принципами, разработанными Наполеоном и Мольтке, его же собственный военно-научный корпус в нарушение всякой субординации подготавливал удар по Берлину. «Ох,

уж эти выжившие из ума старикашки!» — так примерно можно было бы кратко охарактеризовать отношения этого специализированного корпуса к своему начальству.

В ночь со второго на третье июля помещения Военного Руководства в Париже являли собой внушительное зрелище — военная машина, воплотившая в себе все последние достижения науки, как их понимали во второй половине двадцатого столетия, работала полным ходом, и, во всяком случае, одному зрителю эти трое совещающихся генералов казались богами, державшими в руках судьбы

мира...

Этим зрителем была высококвалифицированная машинистка, печатавшая почти шестьдесят слов в минуту. Она, в очередь с другими такими же машинистками, должна была печатать под диктовку приказы и передавать их младшим офицерам, на обязанности которых лежало препровождать эти приказы по назначению и подшивать копии. В эту минуту ее услуги не требовались, и ей было разрешено покинуть бюро диктовки и выйти на террасу перед главным залом, чтобы съесть там скромный ужин, который она принесла с собой из дома, и

подышать свежим воздухом.

Стоя на террасе, молодая женщина могла видеть не только широкую реку внизу и всю восточную часть Парижа от Триумфальной арки до Сен-Клу — черные или смутно-серые громады и массивы зданий, рассекаемые золотыми и розовыми вспышками реклам, и неустанно бегущие под тихим беззвездным небом переплетающиеся ленты огненных букв, — но и весь большой зал с его стройными колоннами, легкими сводами и огромными гроздьями электрических люстр. Там на многочисленных столах лежали огромные карты, выполненные в

таком крупном масштабе, что при взгляде на любую из них легко могло показаться, будто видишь перед собой маленькую страну. По залу безостановочно сновали курьеры, и адъютанты меняли местами и передвигали небольшие фигурки, символизирующие сотни и тысячи солдат, а посреди всего этого, возле той карты, где шло самое жаркое сражение, стояли главнокомандующий и его двое советников, разрабатывая планы операций, руководя ходом военных действий. Стоило одному только слову слететь с их уст, и тотчас там, на реальных полях сражений, приходили в движение мириады

послушных исполнителей их воли. Люди вставали, шли вперед и умирали. Устремленные на карту взоры этих трех людей решали участь наций. Да, они были подобны богам.

И особенно был подобен богу Дюбуа. Это он принимал решения; другие могли лишь высказывать свое мнение — не больше. И ее душа — душа женщины — исполнилась восторженным обожанием к этому суровому, красивому, величавому старцу.

Однажды ей пришлось получать распоряжения непосредственно от него самого. Она ожидала его приказа, замирая от счастья... и страха. Ее восторг был отравлен

боязнью, что она может ошибиться и опозорит себя...

Сейчас она следила за Дюбуа сквозь стеклянную дверь веранды, как может следить влюбленная женщина, не упуская ни малейшей детали — и ничего не замечая, кроме деталей.

Она заметила, что он говорил мало. И редко бросал взгляд на карту. Высокий англичанин, стоявший рядом с ним, был явно обуреваем целым сонмом идей — противоречивых идей; при каждом передвижении красных, синих, черных и желтых маленьких фигурок на карте он вытягивал шею то в одну, то в другую сторону и старался

привлечь внимание
главнокомандующего то к той, то к
этой подробности. Дюбуа
выслушивал его, кивал, ронял одно-
два слова и снова погружался в
неподвижную задумчивость, словно
орел с герба его страны.

Она не могла видеть глаз Дюбуа:
так глубоко запали они в глазницах
под белыми бровями, — а уста,
изрекавшие решения, были скрыты
под нависшими усами. Виар тоже
говорил мало. Это был
темноволосый мужчина с
внимательными и грустными глазами
и устало поникшей головой. Его
внимание было сейчас
сосредоточено на действиях правого

фланга французов, которые продвигались через Эльзас к Рейну. Виар был старым товарищем Дюбуа; вспомнив это, она решила, что он лучше знает его и доверяет ему больше, чем этот чужой, этот англичанин...

Молчать, оставаться всегда бесстрастным и по возможности поворачиваться в профиль — эти правила старик Дюбуа усвоил много лет назад. Делать вид, что знаешь все, не проявлять удивления и ни при каких обстоятельствах не действовать поспешно, ибо поспешность уже сама по себе — признак непродуманности действий. Руководствуясь этими несложными

правилами, Дюбуа еще с тех лет, когда он был подающим надежды младшим офицером — тихим и почти рассеянным, неторопливым, но исполнительным, — начал завоевывать отличную репутацию. Уже тогда о нем говорили: «Он далеко пойдет». За пятьдесят лет военной службы в мирное время он не пропустил ни одного служебного дня, а во время учебных маневров его спокойное упорство ставило в тупик, завораживало и приводило к поражению многих куда более способных и энергичных офицеров. В глубине души Дюбуа считал, что только он один постиг основной секрет современного военного

искусства. Этот секрет и был ключом ко всей его карьере. Это открытие заключалось в том, что *никто ничего не знает* , и поэтому действовать — это значит непременно впасть в ошибку, а говорить — значит признаваться в своих ошибках, и что тот, кто действует медленно, упорно, а главное, молча, может скорее других рассчитывать на успех. А пока надо хорошо кормить солдат. И теперь с помощью той же самой стратегии он надеялся разрушить таинственные планы командования Центральных Европейских Держав. Пусть себе англичанин толкует о мощном фланговом наступлении через Голландию при поддержке

поднявшихся вверх по Рейну английских подводных лодок, гидропланов и миноносцев; пусть себе Виар вынашивает блестящий план сосредоточения мотоциклетных войск, аэропланов и лыжников в горах Швейцарии для внезапного удара на Вену. Все это следовало выслушать... и подождать, чтобы экспериментировать начал противник. Все это одни эксперименты. А пока он продолжал поворачиваться в профиль с видом полной уверенности в себе, словно хозяин автомобиля, который уже отдал все распоряжения шоферу.

И это спокойное лицо, это выражение глубокой невозмутимости

и абсолютной уверенности в себе и в своих познаниях придавали силу и уверенность всем, кто его окружал. На огромных картах лежала тень его высокой фигуры, отбрасываемая бесчисленными светильниками, похожими на огненные гроздья, то черная, то почти прозрачная, повторенная десятки раз, падающая то под одним углом, то под другим, доминирующая над всем. И эта бесчисленно повторенная тень как бы символизировала его власть. Когда из аппаратной появлялся очередной адъютант, чтобы изменить расположение на карте тех или других фигур, внести ту или иную поправку, заменить, согласно

полученным донесениям, один полк Центральных Европейских Держав двадцатью, отвести назад, продвинуть вперед или совсем убрать с театра военных действий какое-либо соединение союзников, маршал Дюбуа отворачивался, делая вид, что не замечает происходящего, или, бросив взгляд на карту, позволял себе легкий кивок, словно учитель, видящий, как ученик сам исправил свою ошибку: «Да, так лучше».

Он изумителен, думала машинистка, стоявшая на веранде, и изумительно все, что там происходит. Это был мозг западного мира, это был Олимп, у подножия которого лежали враждующие страны. И

маршал Дюбуа возвращал Франции, Франции, которая так долго в бессильном гневе смотрела, как попираются права ее империи, ее былое первенствующее положение в мире.

И машинистке казалось, что ей выпала неслыханная честь: она, женщина, тоже участвует во всем этом.

Нелегко быть женщиной, готовой пасть на колени перед своим кумиром и вместе с тем оставаться бесстрастной, отчужденной, исполнительной и точной. Она должна владеть собой...

Она предалась мечтам, фантастическим мечтам о будущем,

которое наступит, когда война окончится победой. Быть может, тогда эта суровость, этот панцирь непроницаемости будет сброшен, и боги снизойдут до смертных. Ее ресницы медленно опустились...

Внезапно она вздрогнула и очнулась. Она почувствовала, что тишина окружающей ее ночи чем-то нарушена. Внизу, на мосту, происходило какое-то волнение и какое-то движение на улице, а в небе среди облаков заметались лучи прожекторов, установленных где-то над Трокадеро. А затем волнение перекинулось с улицы на террасу, где она стояла, и ворвалось в зал.

Один из часовых вбежал с

террасы в зал и кричал что-то, размахивая руками.

И все вокруг изменилось. Какая-то дрожь разливалась, пронизывала все. Машинистка ничего не понимала. Казалось, все водопроводные трубы и подземные машины, кабели и провода запульсировали, задергались, как кровеносные сосуды. И она ощутила дуновение, похожее на порыв ветра, — дуновение ужаса.

Ее глаза невольно устремились к маршалу — так испуганное дитя ищет глазами мать.

Его лицо было все так же безмятежно. Правда, ей показалось, что он слегка нахмурился, но это

было вполне понятно, ибо граф Делийский, делая какие-то отчаянные жесты длинной худой рукой, взял его за локоть и явно старался увлечь к двери, ведущей на веранду. А Виар почти бежал к огромным окнам, как-то странно изогнувшись и устремив взгляд вверх.

Что происходит там, в небе?

И тут раздался грохот, похожий на раскаты грома.

Грохот обрушился на нее, как удар. Скорчившись, она прижалась к каменной балюстраде и поглядела вверх. Она увидела три черные тени, метнувшиеся вниз в разрывах облаков, и позади двух из них — две огненно-красные спирали...

Страх парализовал в ней все, кроме зрения, и несколько мгновений, казавшихся вечностью, она смотрела на эти красные смерчи, летящие на нее сверху.

Мир вокруг куда-то исчез. На земле не существовало уже больше ничего, кроме пурпурно-алого, ослепительного сверкания и грохота — оглушающего, поглощающего все, не смолкающего ни на мгновение грохота. Все другие огни погасли, и в этом слепящем свете, оседая, рушились стены, взлетали в воздух колонны, кувыркались карнизы и кружились куски стекла.

Машинистке казалось, что огромный пурпурно-алый клубок

огня бешено крутится среди этого вихря обломков, яростно терзает землю и начинает зарываться в нее подобно огненному кроту.

Машинистка очнулась, как после глубокого сна.

Она почувствовала, что лежит ничком на какой-то земляной насыпи и одна ее ступня погружена в горячую воду. Она хотела приподняться и ощутила острую боль в ноге. Она не понимала, ночь это или день и где она находится. Она снова сделала попытку приподняться, вздрогнула, застонала, перевернулась на спину, села и огляделась по сторонам.

Кругом, как показалось ей, царила тишина. В действительности же она находилась в самом центре неистового шума, но не замечала этого, потому что ее слух был поврежден.

То, что она увидела, никак не укладывалось в ее сознании.

Вокруг нее был странный мир, беззвучный мир разрушения, мир исковерканных, нагроможденных друг на друга предметов. И все было залито мерцающим пурпурно-алым светом, и только этот свет, единственный из всего, что ее окружало, казалось, был ей почему-то знаком. Потом совсем рядом она увидела Трокадеро, возвышавшийся

над хаосом обломков, — здание изменилось, чего-то в нем не хватало, и тем не менее это, без сомнения, был Трокадеро: его силуэт отчетливо выделялся на фоне залитых багровым светом, крутящихся, рвущихся вверх клубов пара. И тут она вспомнила Париж, и Сену, и теплый вечер, и подернутое облаками небо, и сверкающий огнями великолепный зал Военного Руководства...

Она приподнялась, вползла немного выше по склону земляной насыпи и снова огляделась по сторонам, уже яснее понимая, что произошло...

Груда земли, на которой она

лежала, вдавалась наподобие мыса в реку, а почти у ее ног виднелось озерцо, из которого во все стороны растекались теплые ручейки и струйки. Примерно в футе над ним свивались в спирали клубы пара. В воде отражалась верхняя часть какой-то очень знакомой на вид колонны. По другую сторону мыса из воды почти отвесной стеной вздымались руины, увенчанные огненной короной, и, отражая ее сверкание, клубясь, взлетали к зениту огромные столбы пара. Оттуда, с вершины руин, и распространялось это синевато-багровое сияние, заливавшее своим зловещим светом все вокруг, и мало-помалу эти руины

связались в ее сознании с исчезнувшим зданием Военного Руководства.

— Ах! — прошептала она и застыла на секунду в полной неподвижности, уставившись прямо перед собой широко раскрытыми глазами, прильнув к теплой земле.

Потом это оглушенное, искалеченное существо снова начало озираться по сторонам. Женщина почувствовала, что ей необходимо увидеть других людей. Ей хотелось говорить, хотелось задавать вопросы; хотелось рассказать о том, что с ней произошло. Нога жестоко болела. Так где же санитарный автомобиль? В ее душе поднималось раздражение.

Ведь произошла катастрофа! А когда происходит катастрофа, то съезжаются санитарные автомобили, полиция и врачи ищут раненых...

Она вытянула шею, приглядываясь. Рядом как будто кто-то был. Но всюду стояла мертвая тишина.

— Мосье! — крикнула она и, не слыша собственного голоса, заподозрила, что у нее поврежден слух.

Ей было страшно и одиноко среди этого дикого хаоса, а этот человек — если это действительно человек, — быть может, еще жив, хотя и лежит совершенно неподвижно. Быть может, он только

потерял сознание...

Скачущие отблески огня упали на его тело, осветив его на мгновение с поразительной отчетливостью. Это был маршал Дюбуа. Он лежал на большом обрывке военной карты, к которой прилипли, с которой свисали маленькие деревянные фигурки — пехота, кавалерия, артиллерийские орудия, занимавшие пограничный рубеж. Маршал словно не замечал того, что происходило кругом, у него был отсутствующий вид. Казалось, он был погружен в глубокие размышления...

Она не различала его глаз, скрытых под нависшими бровями, но брови были как будто нахмурены. Да,

он хмурился, словно не хотел, чтобы его беспокоили, но его лицо еще хранило отпечаток спокойной уверенности в себе, дышало убеждением, что Франция может чувствовать себя в безопасности, пока ее судьба в его руках.

Женщина не стала больше окликать его, но подползла чуть поближе. Страшное предположение заставило расшириться ее зрачки. Сделав мучительное усилие, она приподнялась и заглянула за грудой обломков. Рука ее коснулась чего-то влажного, и, инстинктивно отдернув ее, она застыла.

То, что лежало перед ней, уже не было человеком: это был кусок

человека — голова и плечи, переходившие в темное месиво и черную поблескивающую лужу...

И пока она смотрела, окаменев, развалины над ее головой покачнулись, стали оседать и рухнули. Кипящий поток хлынул на женщину, и ей показалось, что он стремительно уносит ее куда-то вниз...

Когда молодой авиатор, командир французского военноподстриженными темными волосами, услышал о гибели Военного Руководства, он только рассмеялся. Все, что лежало вне сферы его деятельности, нисколько не волновало его воображения. Что ему за дело, если Париж в огне! Его родители и сестра жили в Кодбеке, а единственная девушка, за которой он когда-либо ухаживал — да и то не очень рьяно, — в Руане. Он хлопнул своего помощника по плечу.

— Ну, теперь, — сказал он, — ничто на свете не может нам помешать добраться до Берлина и отплатить им той же монетой... Стратегия, государственные соображения — с этим теперь покончено... Пошли, дружище, покажем этим старым бабам, на что мы способны, когда никто не сует нам палки в колеса.

Пять минут он провел у телефона, отдавая распоряжения, а затем вышел во двор замка, в котором находился его штаб, и приказал подать себе автомобиль. Надо было спешить — до восхода солнца оставалось каких-нибудь полтора часа. Он поглядел на небо и

с удовлетворением заметил, что побледневший небосвод на востоке затягивают тяжелые тучи.

Этот молодой человек был весьма изобретателен и хитер. Его аэропланы и боеприпасы были разбросаны на большом пространстве: спрятаны в амбарах, засыпаны сеном, укрыты в лесах. Даже сокол мог бы разглядеть их, только приблизившись на расстояние выстрела. Но сегодня ночью авиатору нужен был один-единственный аэроплан, и он был у него под рукой: в полной готовности он стоял, накрытый брезентом, между двумя скирдами милях в двух от замка. На нем авиатор собирался лететь на

Берлин только с одним помощником. Двоих людей было достаточно для того, что он собирался сделать...

Он распоряжался даром, который наука навязала еще не готовому для него человечеству в дополнение ко всем своим прочим дарам — черным дарам разрушения, — а этот молодой человек не был склонен к чувствительности, скорее — к опасности и риску...

В его смуглом лице с блестящей, глянцевитой кожей отчетливо проступали негроидные черты. Он улыбался, как бы предвкушая удовольствие. В его низком, сочном голосе звучал затаенный смешок, и,

отдавая распоряжения, он подчеркивал свои слова выразительным жестом большой волосатой руки с вытянутым вперед длинным указательным пальцем.

— Мы заплатим им той же монетой! — говорил он. — Заплатим сполна! Нельзя терять ни минуты, ребята...

И вот за грядой облаков, сгустившихся над Вестфалией и Саксонией, бесшумный, как солнечный луч, пронесся аэроплан с беззвучно работающим атомным двигателем и фосфоресцирующим гироскопическим компасом, устремляясь, как стрела, к нервному центру, руководящему всеми

военными силами Центральных Европейских Держав.

Он летел не особенно высоко, этот аэроплан, — он скользил в сотне футов над облачной пеленой, скрывавшей землю, скользил, готовый в любое мгновение нырнуть в ее влажный мрак, если на горизонте появится вражеский аэроплан. Молодой кормчий этого воздушного корабля делил свое напряженное до предела внимание между направляющими его путь звездами над головой и плотным слоем клубящихся паров, скрывавших от него землю. На больших пространствах эти облака лежали ровным слоем, словно застывшая

лава, и были почти столь же неподвижны, но кое-где этот слой становился прозрачным, и в разрывах смутно мелькала далекая промоина, в которой просвечивала поверхность земли. Один раз авиатор отчетливо увидел огненный чертеж железнодорожной станции, в другой раз он успел заметить горящую ригу на склоне какого-то высокого холма: за завесой бурлящего дыма пламя казалось синевато-багровым. Но даже там, где земля была окутана саваном облаков, она жила в звуках. Сквозь их пласты долетал глухой грохот мчащихся поездов, гудки автомобилей... С юга доносился треск перестрелки, а когда цель была

уже недалеко, авиатор услышал крик петуха...

Небо над этим морем облаков, сначала темное, усыпанное звездами, понемногу все светлело и светлело с северо-востока, по мере того как занималась заря. Млечный Путь растаял в синеве, и мелкие звезды померкли. Лицо искателя приключений и риска, сжимавшего штурвал аэроплана, зеленоватое от падавшего на него отблеска фосфоресцирующего овала Компаса, было красиво в своей непреклонной целеустремленной решимости и бессмысленно счастливо, как у слабоумного, наконец-то завладевшего коробкой спичек. Его

помощник, человек, не наделенный воображением, сидел, широко расставив ноги; на полу между его ног стоял длинный, похожий на гроб ящик с тремя отделениями для трех атомных бомб — бомб совершенно нового типа, еще ни разу не испытанных, взрывное действие которых должно было продолжаться беспрерывно в течение неопределенно долгого срока. До сих пор каролиний — основное взрывчатое вещество этих бомб — подвергался испытаниям только в ничтожно малых количествах внутри стальных камер, впаянных в свинец. Помощник авиатора знал, что в темных шарах, покоящихся на дне

ящика, стоявшего между его ног, дремлют гигантские разрушительные силы, но собирался точно выполнить полученный приказ и ни о чем не думал. Его орлиный профиль на фоне звездного неба не выражал ничего, кроме мрачной решимости.

Аэроплан приближался к вражеской столице, и облака начинали рассеиваться.

До сих пор полет был необыкновенно удачен — они не встретили ни одного неприятельского аэроплана. Пограничных разведчиков им, по-видимому, удалось миновать ночью — вероятно, те держались преимущественно под облаками.

Пространство велико, и им посчастливилось благополучно избежать встречи с воздушными стражами. Их аэроплан, выкрашенный в светло-серый цвет, был почти не различим на фоне облаков, над которыми он скользил. Но вот уже восток заалел в лучах восходящего солнца, до Берлина оставалось каких-нибудь два десятка миль, а удача продолжала сопутствовать французам. Облака под ними неприметно таяли...

На северо-востоке, залитый утренним светом, лившимся через большой разрыв в облаках, лежал Берлин, все еще не погасивший своих ночных огней. Указательный палец

левой руки авиатора скользил по квадрату слюдяной карты, прикрепленной у штурвала, еще раз сверяясь с расположением дорог и открытых пространств. Здесь, ближе к правой стороне, среди похожих на озера равнин, расположен Гафель; там, возле лесов, должен находиться Шпандау; здесь река огибает Потсдам; там впереди — Шарлоттенбург, рассеченный широкой магистралью, словно луч прожектора, указывающей на Генеральный Штаб. Вон там Тиргартен; за ним возвышается императорский дворец, а справа от него в этих высоких зданиях, под этими сбившимися в кучу,

увенчанными шпилями, увешанными флагами крышами расположился штаб Центральных Европейских Держав. В холодном бледном свете зари все это казалось отчетливым, но серым.

Авиатор резко поднял голову, внезапно услышав жужжание, которое возникло, казалось, ниоткуда и с каждой секундой становилось все громче. Почти над самой его головой кружил немецкий аэроплан, спускаясь с огромной высоты, чтобы напасть на него. Левой рукой авиатор сделал знак мрачному человеку, сидевшему за его спиной, крепче ухватил штурвал обеими руками, согнулся над ним и,

вытянув шею, поглядел вверх.

Он был внимателен и насторожен, хотя абсолютно не верил, что враг способен взять над ним верх. Он был твердо убежден, что еще не родилось немца, который мог бы победить его в воздухе; да и не только его, но и любого опытного французского авиатора. Он предполагал, что они собираются ударить его сверху на манер ястребов, но, спускаясь с жестокого холода высот, голодные и усталые после бессонной ночи, они спускались недостаточно быстро — словно меч, извлекаемый из ножен ленивцем, — и это дало ему возможность проскользнуть вперед, оказаться

между ними и Берлином. Еще на расстоянии мили от него они начали окликать его по-немецки в мегафон, но слова доносились до него лишь как клубок невнятных хриплых звуков. Затем его зловещее молчание пробудило в них тревогу, и они погнались за ним и оказались ярдов на двести позади него, держась на сто ярдов выше. Они начинали догадываться, кто он такой. Он перестал наблюдать за ними и сконцентрировал все свое внимание на городе, лежавшем впереди, и в течение некоторого времени оба аэроплана неслись, состязаясь в скорости...

Пуля просвистела в воздухе, и

авиатору показалось, что у него над ухом разорвали лист бумаги. За первой пулей последовала вторая. Что-то ударило по аэроплану.

Пора было действовать. Широкие проспекты, площади, парки стремительно увеличивались в размерах и придвигались все ближе и ближе.

— Приготовиться! —
скомандовал авиатор.

Худое лицо помощника застыло в мрачной решимости: обеими руками он вынул большую атомную бомбу из ее гнезда и поставил на край ящика. Это был черный шар в два фута в диаметре. Между двух ручек находилась небольшая

целлулоидная втулка, и, склонившись к ней, он, словно примеряясь, коснулся ее губами. Когда он прокусит ее, воздух проникнет в индуктор. Удостоверившись, что все в порядке, он высунул голову за борт аэроплана, рассчитывая скорость и расстояние от земли. Затем быстро нагнулся, прокусил втулку и бросил бомбу за борт.

— Поворот! — почти беззвучно скомандовал он.

Полыхнуло ослепительное алое пламя, и бомба пошла вниз — крутящийся спиралью огненный столб в центре воздушного смерча. Оба аэроплана взлетели вверх; их подбросило, как мячики, и

закружило. Авиатор, стиснув зубы, старался выправить потерявшую устойчивость машину. Его тощий помощник руками и коленями упирался в борт — он закусил губу, ноздри его раздувались. Впрочем, он был надежно закреплен ремнями...

Когда он снова поглядел вниз, его взору предстало нечто подобное кратеру небольшого вулкана. В саду перед императорским дворцом бил великолепный и зловещий огненный фонтан, выбрасывая из своих недр дым и пламя прямо вверх, туда, где в воздухе реял аэроплан; казалось, он бросал им обвинение. Они находились слишком высоко, чтобы различать фигуры людей или

заметить действие взрыва на здание, пока фасад дворца не покачнулся и не начал оседать и рассыпаться, словно кусок сахара в кипятке. Тот, кто сбросил бомбу, посмотрел, обнажил в усмешке длинные зубы и, выпрямившись, насколько ему позволяли ремни, вытащил из ящика вторую бомбу, прокусил втулку и послал следом за первой.

Взрыв произошел на этот раз почти под самым аэропланом и, накренив, подбросил его вверх. Ящик с последней бомбой едва не опрокинулся, тощего швырнуло на ящик, лицом прямо на бомбу, на ее целлулоидную втулку. Он ухватился за ручки бомбы и с внезапной

решимостью, словно боясь, что бомба ускользнет от него, прокусил втулку. Но прежде чем он успел бросить бомбу за борт, аэроплан начал перевертываться. И все стало опрокидываться.

Человек инстинктивно ухватился руками за борт, стараясь удержаться, и его тело, прижав бомбу, помешало ей упасть.

Мгновение спустя она взорвалась, и от аэроплана, авиатора и его помощника остались только разлетевшиеся во все стороны куски металла, реющие в воздухе лохмотья и капли влаги, а третий огненный столб, крутясь, обрушился на обреченный город...

Впервые за всю историю войн появился непрерывный продолжительный тип взрыва; в сущности, до середины двадцатого века все известные в то время взрывчатые вещества представляли собой легко горящие субстанции; их взрывные свойства определялись быстротой горения; действие же атомных бомб, которые наука послала на землю в описанную нами ночь, оставалось загадкой даже для тех, кто ими воспользовался. Атомные бомбы, находившиеся в распоряжении союзных держав, представляли собой куски чистого

каролиния, покрытые снаружи слоем неокисляющегося вещества, с индуктором, заключенным в герметическую оболочку. Целлулоидная втулка, помещавшаяся между ручками, за которые поднималась бомба, была устроена так, чтобы ее легко можно было прорвать и впустить воздух в индуктор, после чего он мгновенно становился активным и начинал возбуждать радиоактивность во внешнем слое каролиния. Это, в свою очередь, вызывало новую индукцию, и таким образом за несколько минут вся бомба превращалась в непрерывный, непрекращающийся огненный взрыв.

Центральные Европейские Державы располагали точно такими же бомбами, с той лишь разницей, что они были несколько больше и обладали более сложным индукционным устройством.

До сих пор все ракеты и снаряды, какие только знала история войны, создавали, в сущности, один мгновенный взрыв; они взрывались, и в тот же миг все было кончено, и если в сфере действия их взрыва и летящих осколков не было ничего живого и никаких подлежащих разрушению ценностей, они оказывались потраченными зря. Но каролиний принадлежал к бета-группе элементов так называемого

«заторможенного распада», открытых Хислопом, и, начавшись, процесс распада выделял гигантское количество энергии, и остановить его было невозможно. Из всех искусственных элементов Хислопа каролиний обладал самым большим зарядом радиоактивности и потому был особенно опасен в производстве и употреблении. И по сей день он остается наиболее активным источником атомного распада, известным на земле. Его период полураспада — согласно терминологии химиков первой половины двадцатого века — равен семнадцати дням; это значит, что на протяжении семнадцати дней он

расходуется половину того колоссального запаса энергии, который таится в его больших молекулах; в последующие семнадцать дней эманация сокращается наполовину, затем снова наполовину и так далее. Как все радиоактивные вещества, каролиний (несмотря на то, что каждые семнадцать дней его сила слабеет вдвое и, следовательно, неуклонно иссякает, приближаясь к бесконечно малым величинам) никогда не истощает своей энергии до конца, и по сей день поля сражений и области воздушных бомбардировок той сумасшедшей эпохи в истории человечества содержат в себе

радиоактивные вещества и являются, таким образом, центрами вредных излучений...

Когда целлулоидная втулка разрывалась, индуктор окислялся и становился активным. После этого в верхнем слое каролина начинался распад. Этот распад не сразу, а постепенно проникал во внутренние слои бомбы. В первые секунды после начала взрыва бомба в основном еще продолжала оставаться инертным веществом, на поверхности которого происходил взрыв, — большим пассивным ядром в центре грохочущего пламени. Бомбы, сброшенные с аэропланов, падали на землю именно в этом состоянии; они

достигали поверхности земли, все еще находясь в основном в твердом состоянии, и, плавя землю и камни, уходили в глубину. Затем, по мере того, как все большее количество каролиния приобретало активность, бомба взрывалась, превращаясь в чудовищный котел огненной энергии, на дне которого быстро образовывалось нечто вроде небольшого беспрерывно действующего вулкана. Часть каролиния, не имевшая возможности рассеяться в воздухе, легко проникала в кипящий водоворот расплавленной почвы и перегретого пара, смешиваясь с ними и продолжая с яростной силой

вызывать извержения, которые могли длиться годами, месяцами или неделями — в зависимости от размеров бомбы и условий, способствующих или препятствующих ее рассеиванию. Раз сброшенная бомба полностью выходила из-под власти человека, и действием ее нельзя было никак управлять, пока ее энергия не истощалась. Из кратера, образованного взрывом в том месте, куда проникла бомба, начинали вырываться раскаленные пары, взлетать высоко в воздух земля и камни, уже ядовитые, уже насыщенные каролинием, уже излучающие, в свою очередь,

огненную, все испепеляющую
энергию.

Таково было величайшее
достижение военной науки, ее
триумф — невиданной силы взрыв,
который должен был «решительно
изменить» самую сущность войны.

Современный историк, описывая ту эпоху, утверждает, что это было время, когда человечество «верило в непреложность некоторых отвлеченных понятий и было слепо к очевидным фактам». И в самом деле, те, кто жил в начале двадцатого века, должны были бы, казалось, ясно видеть, что война стремительно становится невозможной. И тем не менее они явно этого не замечали. Они не замечали этого до тех пор, пока атомные бомбы не начали рваться в их неумелых руках. А ведь всякий просвещенный человек, казалось бы, не мог не заметить

столь очевидных фактов. На протяжении двух — девятнадцатого и двадцатого — веков количество энергии, которую завоевывали и подчиняли себе люди, неуклонно возрастало. В военном отношении это означало, что способность наносить удар, способность разрушать также неудержимо возрастает. А возможность спастись, избежать этого разрушения не увеличивалась ни на йоту. И любые виды пассивной обороны, любые защитные средства, любые укрепления — все сводилось на нет этим чудовищным ростом разрушительных сил. Способ же применения разрушительных сил

становился настолько доступным, что любая самая незначительная группа недовольных могла им воспользоваться, и это означало полный переворот в полицейской системе и внутреннем управлении государства. Еще до начала последней войны было общеизвестно, что количество скрытой энергии, которое может превратить в руины полгорода, легко уместится в ручном саквояже. Эти факты жили в сознании каждого; они были известны даже уличным ребятишкам. И тем не менее человечество продолжало «баловаться», по выражению американцев, с такой опасной

игрушкой, как военные приготовления и военные угрозы.

Только ясно осознав этот глубокий разрыв между достижениями науки и человеческого разума, с одной стороны, и действиями политиканов — с другой, современный человек окажется способен понять, как могло сложиться подобное чудовищное положение вещей. Социальная организация общества все еще находилась на стадии варварства. Уже насчитывалось немало людей, обладавших высоким духовным развитием, в личной жизни человек становился цивилизованным существом, и бытовая культура

достигала расцвета, но общество как таковое в целом оставалось бессмысленным, нежизнеспособным и неорганизованным до идиотизма. Коллективная цивилизация — «Современное Государство» — все еще скрывалась во тьме грядущего.

Однако вернемся к «Годам странствия» Фредерика Барнета и узнаем, какова была судьба среднего человека во время войны. В те дни, когда Париж и Берлин испытали на себе ужасающее могущество науки, обращенной на цели разрушения, Барнет со своей ротой усердно рыл окопы в Люксембурге.

Кратко, но живо он описывает мобилизацию и свое путешествие в жаркую летнюю пору через север Франции и Арденны. Деревья и трава пожелтели от зноя, кое-где начали уже проглядывать осенние краски, и пшеничные поля отливали

золотом. Когда эшелон задержался на час в Ирсоне, на платформе мужчины и женщины с трехцветными значками угощали изнемогавших от жажды солдат пивом и лепешками, и все выглядело очень весело и празднично.

«Какое отличное, прохладное это было пиво, — пишет Барнет. — А я от самого Эпсوما ничего не ел и не пил».

В розовеющем вечернем небе кружило несколько монопланов. «Словно гигантские ласточки», — замечает Барнет.

Батальон Барнета был отправлен через Седан в местечко, носившее название Виртон, и оттуда по

железной дороге на Жемель. Но в лесу поезд остановили, их высадили, и они провели беспокойную ночь возле самого железнодорожного полотна, где беспрерывно проходили эшелоны и товарные составы. А на следующее утро, едва холодный рассвет пробился сквозь холодные облака, Барнет уже шагал на восток к Арлону по широким полям, перемежающимся рощами, и мало-помалу тучи рассеялись, и начало припекать беспощадное солнце.

Прибыв на место, пехота получила приказ рыть окопы и стрелковые ячейки между Сен-Юбером и Виртоном и замаскироваться в них, чтобы не дать

неприятелю продвинуться с востока к укрепленной линии на Маасе. Двое суток они работали, исполняя приказ, и ни разу не видели неприятеля и не подозревали о катастрофе, которая обезглавила европейские армии и превратила западную часть Парижа и центр Берлина в пылающие развалины, повторяющие в миниатюре гибель Помпеи.

И даже когда они слышали о случившемся, это была далеко не вся правда.

«Нам сказали, что аэропланы и бомбы натворили немало бед в Париже, — рассказывает Барнет, — но отсюда еще не следовало, что

„Они“ не разрабатывают по-прежнему свои планы и не издают приказы где-нибудь в другом месте. Когда из леса перед нами появился неприятель, мы закричали „ура“ и принялись палить в него, не думая ни о чем, кроме завязавшегося боя. А если время от времени кто-нибудь приподнимал голову, чтобы посмотреть, что происходит в небе, свист пули над ухом быстро приводил его снова в горизонтальное положение...»

Это сражение продолжалось три дня и захватило довольно большое пространство — между Лувеном на севере и Лонгви на юге. В основном это была ружейная перестрелка и

рукопашный бой. Аэропланы, по-видимому, не принимали первое время заметного участия в сражении, хотя, без сомнения, их стратегическое значение с самого начала было велико, так как они предупреждали возможность внезапных маневров, внезапной переброски войск. Эти аэропланы были снабжены атомными двигателями, однако не имели не только атомных бомб, которые были явно неприменимы на полях сражений, но и никаких других. И хотя они вступали в единоборство и стреляли друг в друга и в них стреляли с земли из винтовок, тем не менее настоящих воздушных боев

почти не происходило. То ли сами авиаторы не склонны были вести бой, то ли командование обеих сторон предпочитало беречь свои машины для целей разведки...

Дня два Барнет рыл окопы и строил планы дальнейших действий, а затем очутился на передовых позициях. Свои стрелковые ячейки он расположил главным образом вдоль глубокой сухой канавы, которая служила хорошим ходом сообщения, а землю разбросал по соседнему полю и замаскировал свое сооружение снопами колосьев и пучками маков. Ничего не подозревавший противник начал наступление через это поле и,

несомненно, понес бы тяжелые потери, если бы кто-то на правом фланге не открыл стрельбы раньше времени.

«Когда неприятельские солдаты появились передо мной, я почувствовал, что меня охватил странный трепет, — признается Барнет. — Это было совсем не то ощущение, какое испытываешь на маневрах. Они остановились было на опушке леса, а потом двинулись вперед развернутым строем. Они приближались к нам, но смотрели не на нас, а куда-то в сторону, вправо. Даже когда они начали падать под нашими пулями, а их офицеры предупредили их свистками, они,

казалось, по-прежнему не видели нас. Двое или трое из них остановились и тоже открыли стрельбу, а затем они все стали отступать обратно к лесу. Сначала они отступали медленно, оглядываясь на нас, а затем — словно лес притягивал их к себе — затрусили к нему рысцой. Я выстрелил — почти машинально — и промахнулся, потом выстрелил снова и почувствовал, что уже хочу непременно попасть в цель, проверил установку прицела и стал тщательно ловить на мушку голубую спину, мелькавшую среди колосьев. Сначала мне это не удавалось — так порывисты и неожиданны были

движения солдата, — и я не стрелял, но затем он, по-видимому, встретил на своем пути канаву или какое-то другое препятствие и задержался на секунду. „Получай“, — прошептал я и нажал на спуск.

Я испытал в высшей степени странное ощущение. В первую секунду, увидав, что я попал в него, я почувствовал прилив гордости и радость...

Пуля заставила его завертеться на месте волчком. Он подпрыгнул и вскинул руки...

Затем я увидел, что верхушки колосьев колышутся и в просветах между ними мелькает его бьющееся на земле тело. Внезапно к горлу у

меня подступила тошнота. Я не убил его...

Он был беспомощен, как раздавленный червяк, но у него еще хватало сил корчиться. Я задумался...

Почти два часа этот прусский солдат умирал за стеной колосьев. И не то звал кого-то, не то кто-то окликал его...

Затем он как будто подпрыгнул — по-видимому, в последнем страшном усилии встать на ноги, — но тут же снопа свалился, как куль, затих и больше не шевелился.

Видеть его было невыносимо, и кто-то, по-моему, пристрелил его. Я и сам уже собирался это сделать...»

Неприятель принялся

обстреливать окопы союзников из своих укреплений в лесу. Соседа Барнета ранило, и он начал неистово чертыхаться и стонать. Барнет по дну канавы подполз к нему и увидел, что солдат весь в крови, а кисть его правой руки превратилась в кровавое месиво. Боль была невыносимой, но раненого душила такая ярость, что он забыл о боли.

— Глядите, глядите, — твердил он, то прижимая изуродованную руку к груди, то вытягивая ее. — Глупость чертова! Правая рука, сэр! Моя правая рука!

Барнет долго не мог его успокоить. Солдат был вне себя от сознания жестокого безумия войны,

сознания, поразившего его вместе с пулей, которая мгновенно и навеки превратила его из искусного механика в калеку. Он в диком ужасе смотрел на страшную рану, ничего не видя и не замечая вокруг. Все же в конце концов Барнет перевязал кровоточащий обрубок и помог раненому перебраться по дну канавы в безопасное место.

Когда Барнет вернулся, все солдаты громко требовали воды, их, целый день сидевших в окопах, томила жажда. Пообедали они шоколадом с хлебом.

«Сначала, — говорил Барнет, — я, получив мое первое боевое крещение, был в необычайно

приподнятом состоянии духа. Затем, по мере усиления жары, начались всяческие мучения, а время тянулось невыносимо медленно. Мухи не давали мне покоя, а кроме того, оказалось, что мой тесный окопчик кишит муравьями. Я не мог ни встать, ни выбраться из него, так как какой-то неприятельский стрелок в лесу давно держал меня под прицелом. А я все время думал о пруссаке, валявшемся на поле, и в ушах у меня звучали горькие вопли моего солдата. „Глупость чертова!“ Да, это была глупость, проклятая глупость. Но кто был в ней виноват? Как мы дошли до этого?..

После полудня неприятельский

аэроплан сделал попытку выбить нас с позиции динамитными бомбами, но две-три наших пули попали в него, и он внезапно нырнул за вершины деревьев.

«Сейчас повсюду, от Голландии до Альп, — сказал я себе, — скорчившись, зарывшись в землю, лежит миллион людей, которые стараются как можно основательнее изувечить друг друга. Грандиозность этого безумия не укладывается в сознании. Это сон. Скоро я очнусь...»

И тотчас эта мысль обрела иную форму: «Скоро человечество очнется».

Я лежал, раздумывая, сколько

десятков тысяч из этого миллиона сейчас негодуют на обветшалые фетиши — империю и национальный флаг. Быть может, этот чудовищный кошмар предшествует кризису? И спящий, не в силах выносить долее подобный ужас... проснется?

Не помню, чем закончились мои размышления. Кажется, они не столько закончились, сколько были прерваны отдаленным грохотом пушек, начавших издалека обстреливать Намюр».

А ведь пока еще Барнет не испытал и тени того, во что обещала развернуться эта война. До сих пор он принимал участие лишь в небольшой перестрелке. Штыковая атака, прорвавшая их передовую линию, произошла под Круа Руж, за двадцать с лишним миль от расположения его роты, и в ту же ночь под покровом темноты они оставили окопы и без дальнейших потерь покинули этот рубеж.

Полк Барнета без соприкосновения с противником отошел за линию укреплений между Намюром и Седаном, погрузился в

вагоны на станции Метте и был переброшен через Антверпен и Роттердам на север, в Гарлем. Отсюда они уже походным порядком были направлены на север Голландии. И только тут, после этого перехода через Голландию, Барнет начал постигать всю чудовищность и катастрофичность этой борьбы, в которой он исполнял свою неприметную роль.

Он очень живо описывает мелькавшие за окнами вагонов холмы и долины Брабанта, многочисленные мосты через рукава Рейна и постепенный переход от холмистого бельгийского пейзажа к плоским ярко-зеленым лугам, залитым

солнцем плотинам и бесчисленным ветряным мельницам голландских равнин. В те годы от Алкмара и Лейдена до Долларта тянулась сплошная полоса суши. Три большие провинции — Южная Голландия, Северная Голландия и Зейдерзееланд, которые с начала десятого века и по 1945 год были постепенно отвоеваны у моря и лежали на много футов ниже уровня волн, бившихся о защищавшие их плотины, теперь пышно цвели под северным солнцем, кормя многочисленное население. Сложная система законов, обычаев и традиций неустанно и зорко охраняла эти земли от ведущей на них осаду

морской стихии. На двести пятьдесят с лишним миль, от Валхерена до Фрисландии, протянулась линия дамб и насосных станций, вызывая восхищение всего мира.

Если бы какому-нибудь любопытному богу вздумалось понаблюдать за течением событий в этих северных областях, пока англичане совершали свой фланговый марш, он мог бы с удобством воссесть на одном из величественных кучевых облаков, которые медленно плыли по голубому небу в эти замечательные дни накануне великой катастрофы. Да, погода в те дни стояла жаркая, без дождя, с легким ветерком, а

земля была сухой и немного пыльной. И любознательный бог созерцал бы широкие зеленые пространства, залитые солнцем и испещренные тенями облаков, и отражающие небо болота, обрамленные и разделенные густым ивняком и серебристыми камышами, и белые ленты дорог, открытые солнечным лучам, и кружевную сеть синих каналов. По лугам бродили огромные стада, по дорогам безостановочно двигались велосипеды, возы и пестрые автомобили крестьян; гудки бесчисленных моторных судов на каналах соперничали с шумной сутолокой дорог, и повсюду — в

окруженных ригами и амбарами
усадеб, в сбившихся у дороги в кучу
зданий, в беспорядочно
разбросанных домах деревень с
неизменной старой и красивой
церковью, в тесных городах,
перерезанных бульварами с искусно
подстриженными деревьями,
опоясанных каналами с
бесчисленными мостами, —
повсюду обитали люди.

Народ этой страны не отличался
воинственностью. Интересы и
симпатии Голландии так поделились
между двумя враждующими
лагерями, что она до конца
продолжала находиться в
нерешительности и не принимала

активного участия в борьбе мировых держав. И везде вдоль дорог, по которым проходили войска, собирались кучки и толпы бесстрастных наблюдателей и зевак: дети и женщины в своеобразных белых чепцах и старомодных деревянных башмаках и пожилые бритые мужчины, спокойно и задумчиво посасывающие длинные трубки. Они не боялись вторгшихся к ним чужеземцев: те дни, когда слово «солдатня» вызывало в представлении шайки разнузданных грабителей, давно канули в прошлое...

Со своего наблюдательного пункта в облаках бог увидел бы, как

одетые в форму цвета хаки солдаты и
выкрашенные в цвет хаки орудия
расползались по всей приморской
Голландии. Он увидел бы длинные
железнодорожные составы —
вагоны, набитые солдатами, и
платформы с тяжелыми
артиллерийскими орудиями и
боеприпасами, — медленно
ползущие на север, опасаясь
крушения; он увидел бы Рейн и
Шельду, запруженные судами,
выгружающими все больше и больше
солдат и все больше и больше
боеприпасов; он увидел бы привалы,
и раздачу рационов, и выгрузку из
поездов; увидел бы длинные,
медленно движущиеся колонны

пехоты и кавалерии, похожие на гусениц, и похожие на личинки фургоны, и похожие на огромных жуков орудия, ползущие на север по затененным тополями дорогам и плотинам мимо безучастных к их судьбе, невозмутимо наблюдающих за ними голландцев. Все суда и баржи на каналах были реквизированы для переброски войск. В свете теплого солнечного летнего дня вся эта картина оттуда, сверху, с облаков, должна была казаться каким-то буйным праздником оживших игрушек.

Когда солнце стало клониться к западу, все происходящее внизу, на земле, должно было подернуться

золотистой дымкой, стать более ярким и засверкать, а удлинившиеся тени — сделать предметы более выпуклыми. Тени высоких колоколен все росли и росли, пока не достигли горизонта и не слились с надвигающимся мраком, и тогда медленно, неслышно, расправляя складки своего синего и все более отливающего черным плаща и мало-помалу обволакивая им землю, подкралась ночь; в непроглядной ее тьме одна за другой затеплились слабые искорки, и вскоре уже мрак сиял тысячами брильянтовых огней. И из этого слияния тьмы и мерцающего света до облаков долетел бы неумолчный гул

человеческой деятельности, особенно отчетливый теперь, когда она была только слышна, но незрима.

И, быть может, проносясь в прозрачной бездне между землей и звездами, бог-наблюдатель всю ночь не сомкнул глаз, а быть может, он задремал. Но если бы он поддался этой вполне естественной потребности на четвертую ночь от начала великого флангового марша, то был бы скоро разбужен, ибо в эту ночь битва в воздухе решила участь Голландии.

Аэропланы были наконец введены в бой, и внезапно с ревом и визгом они ринулись вперед со всех четырех сторон небосвода,

проносясь то над наблюдателем, то под ним, ныряя, сталкиваясь, опрокидываясь, взмывая к зениту и падая на землю, ринулись — одни, чтобы напасть на мириады копошащихся внизу существ, другие, чтобы защитить их.

Центральные Европейские Державы втайне собирали в кулак все свои летательные машины, и теперь они бросили их в атаку на небольшой клочок низменности — подобно великану, швыряющему на землю десять тысяч ножей. В этой бешено несущейся стае находилось пять аэропланов с атомными бомбами, державших курс прямо к дамбам Голландии. И в ответ на это

внезапное нападение на севере, на западе и на юге в воздух поднялись аэропланы союзников и бросились на врага. Так началась война в воздухе. В эту ночь люди носились в горных высях, оседлав вихрь, и, подобно архангелам, разили и падали, сраженные. И небеса проливали на изумленную землю ливень героев. Поистине последние битвы, которые вело человечество, были великолепнее всех предыдущих. Чего стоят воспетые Гомером схватки на мечах и скрип несущихся в бой колесниц по сравнению с этим стремительным полетом, столкновением, головокружительным триумфом и

безудержным падением вниз, в объятия смерти?

А потом в этот смерч воздушных дуэлей, несущийся, крутясь, в пустом пространстве между огнями уличных фонарей и мерцанием звезд, ворвался вихрь и грохот, способный заглушить любой гром, и двадцать огненных змей, увеличиваясь на лету, алчно ринулись вниз на плотины Голландии и вонзились в преграды между морем и сушей, и снова взмыли вверх гигантскими столбами алого дыма, пара и огня, и пламя вырвало из мрака эту крохотную страну с ее деревьями и шпилями колоколен, объятую ужасом, видную всю как на ладони... А вокруг злобно

металось море, яростно пеня багровые волны, подобные волнам крови.

И над этим густонаселенным клочком земли разнесся дикий многоголосый вопль и тревожный набат...

Уцелевшие аэропланы повернули обратно и скрылись из глаз, словно внезапно устыдясь своего деяния. А через десять брешей, охваченных пламенем, которое не могла погасить никакая вода, на сушу с ревом ринулось море.

«Мы кляли свое невезение, — говорит Барнет, — потому что в ту ночь не успели добраться до казарм в Алкмаре, где, как мы слышали, нас ждали полные рационы, табак и другие желанные блага. Но главный канал между Зандамом и Амстердамом был безнадежно запружен судами, и мы обрадовались, когда нам представился случай отстать от нашего основного транспорта, причалить в маленьком, заброшенном и затянутом тиной затоне и найти пристанище в покинутом доме на берегу. Мы

проникли в дом и обнаружили в погребке бочонок с остатками сельди, несколько головок сыра и глиняные кувшины с джином. Мы развели огонь, поджарили на рашпере селедки, засушили гренок с сыром. Никто из нас не смыкал глаз уже почти сорок часов, и я решил остаться в этом убежище до рассвета, а затем, если канал по-прежнему будет запружен судами, бросить нашу баржу и добираться до Алкмара пешком.

Наше убежище находилось примерно в сотне ярдов от канала, и мы могли видеть флотилию, проходившую под невысоким каменным мостом, и слышали голоса

солдат. Вскоре в затоне неподалеку от нас остановилось еще пять или шесть барж; на двух из них были солдаты Антримского полка, и я поделился с ними найденным провиантом. Они, в свою очередь, угостили нас табаком. На запад от нас тянулось широкое пространство воды, а за ним виднелось множество крыш и две-три церковных колокольни. Наша баржа была слишком перегружена, и я разрешил нескольким взводам — всего тридцати — сорока солдатам — расположиться на берегу. Я не позволил им разместиться в доме, опасаясь, как бы они не испортили мебели, и оставил хозяевам долговую

расписку за провиант, который мы взяли. Особенно радовались мы табаку и возможности развести костры, так как нас одолевали комары.

Ворота дома, в котором мы нашли провиант, были украшены надписью: «Vreugde bij Vrede» — «Мир дарует радость», — и все здесь говорило о деятельной старости удалившегося на покой человека, умеющего ценить комфорт. Я прошел через сад, которому большие кусты роз и душистого шиповника придавали нарядный и веселый вид, к очаровательной беседке и, устроившись там, стал наблюдать за моими солдатами, которые

расположились на берегу и теперь стряпали ужин или просто отдыхали. Заходящее солнце золотило почти безоблачное небо.

Последние две недели я не имел ни минуты свободного времени и был целиком поглощен выполнением получаемых приказов. Я работал, напрягая все свои физические и душевные силы, отдыхая лишь в короткие часы, которые удавалось урвать для сна. Теперь эта неожиданная передышка дала мне возможность беспристрастно оценить то, что я делал, и осознать, насколько поразительно было все происходящее. Я преисполнился признательности к солдатам моей

роты, меня восхищала веселая готовность, с которой они терпели лишения и подчинялись необходимости. Я смотрел на них и прислушивался к их славным голосам. Как исполнительны были эти люди! Как беспрекословно готовы были они подчиняться и забывать о себе ради общей цели! Я думал о том, как мужественно переносили они все испытания и тяготы последних двух недель, как закалялись в этих испытаниях и как крепло их товарищество; и я думал о том, как, невзирая ни на что, много еще сохранилось добросердечия в нашей сумасбродной человеческой натуре. Ведь все они, в конце концов,

были лишь случайными представителями человечества; их терпеливость и доброжелательность были подобны энергии, заключенной в атоме, и еще только ждали часа, когда им будет найдено благое применение. И снова с поразительной ясностью и силой я понял, что человечество прежде всего и больше всего нуждается в руководстве, что основная задача — найти руководство, забыть себя в стремлении к цели, стоящей перед всем человеческим родом. И в эту минуту жизнь снова представилась мне ясной и простой...»

Признание очень
знаменательное для «немного

дородного» молодого офицера, описавшего впоследствии все это в своих «Годах странствий», и очень характерное для той перемены, которая уже происходила в те годы в душах людей, подготавливая новую эру в истории человечества.

Барнет пишет дальше о необходимости спасти науку и общественные учреждения от индивидуализма и о том, как он пришел к выводу, что это — единственное «спасение». В те годы эти мысли, без сомнения, казались поразительными и оригинальными; теперь это лишь само собой разумеющаяся основа человеческой жизни.

На небе догорел закат, и сумерки сгустились в ночь. Во мраке костры запылали ярче, и на той стороне затона кто-то затянул ирландскую песню. Но солдатам Барнета, слишком уставшим за день, было не до песен, и на палубе баржи и на берегу все спали.

«Кажется, один только я не мог уснуть. Должно быть, сказалось переутомление. Промучившись некоторое время в лихорадочной полудремоте у румпеля, я очнулся и сел, охваченный смутным беспокойством...

В ту ночь вся Голландия представлялась мне лишь огромным пологом неба. Внизу была черная

кромка горизонта: два-три церковных шпиля и вершины тополей, а над ними — опрокинутая гигантская чаша неба. Она была безоблачна и пуста. И все же моя неясная тревога каким-то непонятным образом исходила от неба.

Неожиданно меня охватила грусть. Была какая-то печальная смиренная покорность в этих спящих фигурах, окружавших меня; все эти люди пришли сюда издалека, они оставили позади привычную жизнь, чтобы принять участие в этой безумной войне, которая ничего не приносила и пожирала все, — в бессмысленном водовороте

разрушения. Я увидел, как коротка и непрочна жизнь человека, целиком зависящая от случая, чудовищно беспомощная в осуществлении даже самых скромных своих замыслов. И я думал: неужели так будет всегда, неужели человек навеки обречен оставаться животным, которому так никогда и не будет суждено подчинить себе судьбу и изменить ее по своей воле? И он так и останется существом добрым, но завистливым, жаждущим, но неосуществляющим, широко одаренным, но действующим безрассудно, — останется таким до тех пор, пока породивший его Сатурн сам же его и не поглотит?..

Я внезапно очнулся от этих

мыслей, заметив, что высоко в небе на северо-востоке появилась эскадра аэропланов. На полночной синеве неба они казались крохотными черными черточками. Помнится, я поглядел на них сначала довольно равнодушно, как на стаю перелетных птиц. А затем я увидел, что это лишь крыло огромного воздушного флота, стремительно приближающегося к нам со стороны границы, и насторожился.

Увидев эти аэропланы, я был поражен, что не заметил их раньше.

Удивленный, взволнованный, я тихонько поднялся на ноги, стараясь не разбудить своих товарищей. Я напряженно прислушивался, ожидая

услышать грохот наших пушек. Почти бессознательно я поглядел на юг, потом на запад, всматриваясь в даль, ожидая, что оттуда придет защита, и тотчас увидел совсем близко от себя, точно они вынырнули прямо из мрака, три стремительно несущиеся эскадры аэропланов: одна эскадра шла на очень большой высоте, другая — основное ядро отряда — примерно на высоте двух тысяч футов, третья летела совсем низко над землей. Аэропланы, находившиеся в центре, шли таким плотным косяком, что за ними не видно было звезд, и тут я понял, что начинается война в воздухе.

Было что-то очень необычное и

странное в этих почти невидимых с земли, изготовившихся к бою противниках, стремительно и бесшумно сближающихся друг с другом над головой спящих внизу войск. Все вокруг меня еще было погружено в сон; на судах, заполнявших главный канал, не заметно было никакого движения, хотя вдоль канала тянулась цепочка костров, да и весь он, испещренный светящимися точками, должен был быть отчетливо заметен сверху. Затем издали, со стороны Алкмара, донесся звук горнов, затем раздались выстрелы, и с ними слился отчаянный перезвон колоколов. Я решил как можно дольше не будить

моих солдат...

Воздушный бой разгорелся мгновенно, как во сне. Мне кажется, что между тем моментом, когда я увидел в воздухе вражеский флот, и началом сражения прошло не больше пяти минут. Я видел все очень хорошо, черные силуэты аэропланов четко выделялись в прозрачной синеве северного неба. Аэропланы союзников — преимущественно французские — яростным ливнем обрушились на ядро вражеского флота. Они действительно походили на крупные дождевые капли. Послышался треск, похожий на шелест северного сияния, — первый звук, который долетел до меня; по-

видимому, в небе началась ружейная перестрелка. Бледные вспышки, похожие на летние зарницы, озарили небо, а через секунду там уже царил хаос воздушного сражения, все еще почти совсем беззвучный. Некоторые вражеские аэропланы опрокидывались, очевидно, задетые удачным выстрелом; другие начинали стремительно падать и вдруг исчезали в ослепительном пламени, от которого на мгновение меркло все вокруг.

И в то время, как я все еще вглядывался в небо, стараясь защитить рукой глаза от этих слепящих вспышек, а солдаты просыпались и вскакивали, кругом

на плотины были сброшены атомные бомбы. С оглушительным грохотом они падали с неба, подобно Люциферу на картинах, оставляя позади себя огненный след. И светлая, прозрачная, полная трагических событий ночь, казалось, внезапно исчезла, поглощенная черным непроницаемым мраком, смыкавшимся вокруг этих исполинских огненных столбов...

За грохотом взрыва последовал рев ветра, в небе замелькали молнии и за клубились тучи...

Все произошло с феерической быстротой. Секунду назад я был одиноким наблюдателем в мире, погруженном в сон, в следующее

мгновение все были на ногах... Мир пробудился, растерянный, ничего не понимающий...

Внезапно налетевший шквал обрушился на меня с такой силой, что сорвал мой шлем и снес беседку в саду усадьбы «Мир дарует радость», скосив ее, словно косой. Я видел, как падали бомбы, видел страшное малиновое пламя, взмывавшее вверх при каждом взрыве, и громоздящиеся друг на друга клубы кроваво-красного пара, и летящие к небу обломки, и на этом огненном фоне встали черные силуэты всех окрестных церквей, деревьев и печных труб. И внезапно я понял. Вражеские аэропланы

взорвали плотины. Эти огненные столбы означали их гибель, и через несколько минут, сюда, на нас, хлынет море...»

Далее Барнет довольно пространно описывает меры — и, надо признать, вполне разумные меры, — которые были им приняты перед лицом этого неслыханного бедствия. Он посадил своих солдат на баржу и сообщил о случившемся на соседние баржи; затем велел механику пустить машину и отчалил. Но тут он вспомнил, что следует запастись продовольствием, и высадил на берег пятерых солдат, и они раздобыли несколько десятков сыров, успев вернуться на баржу до

наводнения.

Барнет упоминает об этом доказательстве своего хладнокровия с законной гордостью. Он намеревался повернуть баржу носом против волны и дать полный ход. И он все время благословлял судьбу за то, что находится в затоне, а не в каше судов на главном канале. Он, как мне кажется, несколько переоценил возможную силу первого удара — он опасался, объясняет он, что волна подхватит баржу и разобьет ее о дома или деревья.

Барнет не указывает, сколько времени прошло между взрывом плотин и тем мгновением, когда их баржу настигло хлынувшее на сушу

море, но, по-видимому, это произошло минут через двадцать — тридцать. Он работал теперь в полном мраке — если не считать света фонаря — и на ураганном ветру. Он зажег носовой и кормовой огни...

Пар клубами поднимался ввысь над стремительно надвигавшейся стеной воды — ведь она хлынула в проломы плотин, раскалившиеся от взрыва почти добела, — и эта плотная завеса клубящегося пара скоро совершенно скрыла огненные вулканы взрывов...

«Наконец наводнение достигло нас. Оно разливалось по всей стране широким валом, надвигаясь с глухим

ревом. Я ожидал увидеть Ниагару, но высота обрушившегося на нас водопада не превышала двенадцати футов. Наша баржа на какой-то миг неуверенно закачалась, получила хорошую порцию воды на палубу и всплыла. Я скомандовал полный вперед, поставил баржу носом против течения и ценой отчаянных усилий старался удержать ее в этом положении.

Дул ветер, такой же неистовый, как этот потоп, и мне кажется, мы сталкивались со всем, что только крутилось в волнах между нами и морем. Единственным источником света среди этой крошечной тьмы были наши фонари; в двадцати футах

пелена пара становилась уже непроницаемой, а рев моря и ветра заглушал все прочие звуки. Черные глянцевиые волны, пенясь, проносились мимо нас, на миг попадая в полосу света наших огней, и снова растворялись во мраке. И оттуда, из этого мрака, неожиданно возникали различные предметы, которые мчались прямо на нас: полузатонувшая лодка, корова, часть бревенчатой стены какого-то дома, беспорядочная груда досок, ящиков. Все они вдруг появлялись перед нами, словно приоткрывалась какая-то дверца, стремительно надвигались, с сокрушительной силой ударялись о нашу баржу, а

порой проносились мимо. Один раз я совершенно отчетливо различил во тьме белое, как мел, человеческое лицо...

Впереди перед нами все время маячила группа полузатопленных, гнущихся под ветром деревьев, и мы постепенно к ним приближались. Я постарался обойти их стороной. Их ветви метались из стороны в сторону на черном фоне клубящегося пара, словно воздетые в безысходном отчаянии руки. Один большой сук обломило ветром, и он со свистом пронесся мимо меня. Мы понемногу продвигались вперед. Когда я в последний раз оглянулся на «Мир дарует радость», прежде чем ее

поглотила тьма, она была прямо за нашей кормой...»

На рассвете баржа Барнета все еще держалась на воде. Носовая часть ее сильно пострадала, и солдаты посменно откачивали и отливали воду. Барнет сумел спасти десяток людей, чья лодка перевернулась рядом с баржей, а три других лодки он тащил на буксире. Во всяком случае, он еще плыл и находился где-то между Амстердамом и Алкмаром, но где именно-то он определить не мог. Настал день, скорее похожий на ночь. Всюду, куда ни глянь, под хмуро-серым небом расстилалось серое пространство воды, а над водой

торчали полуразрушенные кровли и верхние этажи домов, вершины деревьев, верхушки ветряных мельниц — словом, верхняя треть знакомого голландского пейзажа, — и мимо них в туманной дымке плыла целая флотилия барж и маленьких лодочек (некоторые были опрокинуты вверх дном), бревна, балки, мебель и множество других разнообразных предметов.

Утопленники в то утро оставались еще под водой. Лишь изредка проплывал труп коровы или окостеневшее тело человека, судорожно вцепившегося в какой-нибудь дощатый ящик или стул, напоминая о скрытом под водой

страшном кладбище. Только к четвергу на поверхность стало всплывать много трупов.

Серый туман, словно серый полог, висел над головой, закрывая даль. Он рассеялся лишь после полудня, и тогда на западе под тяжелыми тучами пыли и клубами пара над безбрежным простором воды стали видны огненно-красные фонтаны атомных вулканов.

Издали, сквозь мглистую дымку, они казались тусклыми и зловещими, как лондонские закаты.

«Они стояли над водой, — говорит Барнет, — словно огненные водяные лилии со смятыми лепестками».

Это утро Барнет провел, по-видимому, на канале, спасая тех, кто проплывал мимо, вылавливая опрокинутые лодки, помогая людям выбраться из затопленных домов. Другие военные баржи занимались тем же. Только на исходе дня, когда самая неотложная помощь была оказана, он вспомнил, что ему следует накормить и напоить своих солдат и решить, что предпринять дальше. У них еще оставалось немного сыра, но не было ни капли воды. «Приказы», эти таинственные повелители человеческих судеб, исчезли уже, по-видимому, навсегда. Барнет понял, что теперь он должен действовать на свой страх и риск.

«Все мы чувствовали: произошла катастрофа такого масштаба и мир должен был так измениться, что мы напрасно стали бы надеяться найти на земле место, где все оставалось бы таким же, как до войны. Мы собрались на юте — мой механик Майлис, Кемп, еще двое младших офицеров и я — и принялись вырабатывать план действий. У нас не было ни пищи, ни определенной цели. Мы пришли к заключению, что наши боевые возможности ничтожны и что нам надо прежде всего раздобыть себе еду и получить какие-то инструкции. Каким бы ни был план военных операций, который прежде

предопределял наши действия, теперь он, совершенно очевидно, утратил всякий смысл. Майлис считал, что нам следует повернуть на запад и попробовать вернуться в Англию через Северное море. По его расчетам, на такой моторной барже, как наша, можно было достичь йоркширского побережья через сорок четыре часа. Но я отверг его предложение, потому что у нас было слишком мало провианта и совсем не было воды.

Со всех лодок вблизи от нас доносились просьбы дать им воду, и от этого нам хотелось пить еще сильнее. Я решил, что нам следует плыть на юг, где мы, несомненно,

доберемся до такой возвышенности, которая не будет затоплена морем, и тогда мы сможем пристать к берегу, найти какой-нибудь ручей, напиться, пополнить наши запасы и узнать, что происходит в мире. На многих баржах, проплывавших в тумане мимо нас, находились английские солдаты, заплывшие сюда с Северного Канала, но и они знали о происходящем не больше, чем мы. «Приказы» больше не служили нам путеводной звездой.

Однако вечером того же дня «Приказы» снова напомнили о себе через мегафон английского миноносца, сообщавшего о заключении перемирия и

обрадовавшего нас известием, что провиант и вода срочно отправляются вниз по Рейну и флотилия барж с припасами будет стоять на старом Рейне возле Лейдена...»

Но мы не последуем за Барнетом и его солдатами в это странное путешествие по воде, над сушей, между деревьев, домов и церквей, мимо Зандама через Гарлем и Амстердам до Лейдена. Они плыли в тумане, пронизанном красными отблесками огня, в каком-то призрачном мире, полном неизвестности, растерянности, туманных силуэтов, доносившихся откуда-то голосов и мучительной

жажды, притуплявшей все другие чувства.

«Мы сидели, — пишет Барнет, — тесно прижавшись друг к другу, а расположившиеся на носу солдаты были воплощением молчаливого терпения. И только один звук настойчиво нарушал тишину — мяукала кошка, которую один из наших солдат спас вблизи Зандама, когда она проплывала мимо нас на стоге сена. Мы держали курс на юг, полагаясь на компас-брелок, принадлежавший Майлису.

Мне кажется, никто из нас тогда не думал о том, что мы — остатки разбитой армии; нам в те минуты было как-то не до войны. Над всем

преобладало ощущение грандиозной стихийной катастрофы. После атомных взрывов все международные споры словно утратили всякое значение. В те минуты, когда мы забывали о жажде, мы задумывались над тем, что нужно найти способ прекратить применение этого страшного оружия, пока на земле еще не уничтожено все живое. Ибо нам стало совершенно очевидно, что эти бомбы и те еще более страшные силы разрушения, предтечами которых они являются, могут в мгновение ока уничтожить все, созданное человечеством, и порвать все существующие между людьми связи.

— Что они намерены делать? —

спрашивал Майлис. — Что они намерены делать? Совершенно ясно, что мы должны положить конец войне. Совершенно ясно, что должен быть установлен какой-то порядок. Все это... все, что происходит... совершенно немыслимо.

Я ответил ему не сразу. Что-то — я даже сам не знаю, что именно, — воскресило в моей памяти того раненого, которого я перевязал в первый день сражения. Я снова увидел его гневные, полные слез глаза и жалкий кровоточащий обрубок, который пять минут назад был искусной рукой человека, простертой вперед в неистовом протесте: «Глупость чертова! Правая

рука, сэр! Моя *правая* рука...»

На какое-то мгновение я утратил веру в людей, в силу разума.

— Мне кажется, что мы слишком... слишком глупы, — сказал я Майлису, — чтобы когда-нибудь положить конец войне. Если бы у нас хватало на это ума, мы должны были бы сделать это раньше. Мне кажется, что вот это... — я указал на черный скелетообразный остов разбитой ветряной мельницы, нелепый и безобразный, торчавший над залитой кровавым светом водой, — это конец».

Однако нам пора проститься с Фредериком Барнетом и с его голодными, погибающими от жажды на борту баржи солдатами.

В течение какого-то времени казалось, что цивилизации — в Западной Европе, во всяком случае, — пришел конец. Семена, посеянные Наполеоном и взращенные Бисмарком, распустились пышным цветом, «подобные огненным лилиям», озарив своим кровавым пламенем гибнущие нации, разрушенные и затопленные храмы, лежащие в руинах города, навсегда погубленные

для человечества плодородные поля и миллионы трупов, плавающих в лужах крови. Был ли этот урок достаточным для человечества, или же пламя войны будет снова и снова озарять руины?

Ни Барнет, ни его товарищи, разумеется, не могли с уверенностью ответить на этот вопрос. История человечества уже знала один такой пример. Когда американский континент был открыт европейцами, высокая цивилизация отступила там перед культом войны, рафинированным и жестоким, и теперь многие мыслящие люди полагали, что снова, в еще большем масштабе, повторится это торжество

воина, эта победа инстинкта разрушения, присущего человеку.

Дальнейший рассказ Барнета целиком подтверждает обоснованность такого трагического предположения. Барнет дает несколько беглых зарисовок гибнущей — и, по-видимому, непоправимо гибнущей — цивилизации. Он видел холмы Бельгии, кишящие беженцами и опустошаемые холерой; он видел остатки воюющих армий, поддерживающих военный порядок уже после перемирия, не ведущих боев, но враждебно настороженных в силу привычки, и он видел полное отсутствие какого бы то ни было

плана во всем.

В небе летали аэропланы, выполняя какие-то таинственные поручения. Ходили слухи, что в долинах Семуа и в лесных районах восточных Арденн началось людоедство, что там беснуются религиозные фанатики, что Китай и Япония напали на Россию, а в Америке разразилась революция. Все это сопровождалось бурями и ураганами небывалой силы и грозовыми ливнями...

Часть третья

«Окончание войны»

На горном склоне неподалеку от города Бриссаго, над двумя заливами Лаго-Маджоре, лежат уступами зеленые луга, спускающиеся на востоке к Беллинцоне и на юге — к Луино, необычайно красивые весной, когда они превращаются в пестрый цветочный ковер. Но особенно прекрасны они в первые дни июня, когда цветут хрупкие асфодели — лилии святого Бруно и весь луг усеян их белоснежными венчиками. К западу от этого восхитительного местечка протянулось глубокое лесистое ущелье — голубой провал шириной около мили, а за ним встает

стена утесов, величественных и мрачных. Над лугами асфоделей каменистые склоны уходят ввысь, к скалистому, залитому солнцем кряжу, который, изгибаясь, смыкается с вершинами этих утесов, образуя с ними единую линию горизонта. На фоне этого сурового и дикого горного ландшафта еще более безмятежными кажутся огромное озеро внизу и окружающие его просторы плодородных долин и холмов с лентами дорог и пятнами деревень, и острова на юге и востоке, и червенно-золотые рисовые поля Валь-Маджа на севере.

И потому, что это уединенное и ничем не знаменитое местечко

лежало вдали от трагедий, обрушившихся на человечество в тот роковой год, вдали от горящих городов и погибающих от голода сотен тысяч людей, здесь, в этом укромном углу, где все, дыша покоем, умиротворяло и укрепляло дух, — здесь должно было состояться совещание правителей, стремившихся приостановить, если еще не поздно, гибель цивилизации. Здесь должны были встретиться представители крупнейших держав мира, которых привела сюда несокрушимая энергия Леблана, этого человека, страстно и беззаветно преданного идее гуманизма, бывшего в ту пору

французским послом в Вашингтоне, — встретиться для последней отчаянной попытки «спасти человечество».

Леблан принадлежал к тем простым, бесхитростным людям, чей удел — оставаться в тени во все эпохи процветания, но кому суждено сыграть на мировой арене такую роль, которая навеки обессмертит их имя в истории человечества после того, как страшная катастрофа упрощает положение вещей в мире до их собственной простоты. Такими людьми были Авраам Линкольн и Гарибальди. И Леблан с его прозрачно чистой, как у ребенка, душой, с его полной отрешенностью

от личных интересов, явившись среди этого хаоса бедствий, недоверия и растерянности, обратился с неотразимым призывом к здравому смыслу — к единственному, что еще могло спасти мир. Его голос прозвучал как великое увещание.

Это был лысый коротышка в очках, вдохновляемый теми высокими идеалами, которые принесла в дар человечеству французская нация. Он глубоко и убежденно верил в одну простую истину: войне должен быть положен конец, и единственный способ прекратить войну — это создать единое правительство для всех

народов, населяющих землю. Все прочие соображения он считал не заслуживающими внимания. В самом начале войны, как только подверглись разрушению столицы двух воюющих держав, Леблан явился со своими предложениями в Белый дом к президенту. Он сделал это как нечто само собою разумеющееся.

Ему посчастливилось, что в этот момент он был в Вашингтоне и должен был взывать к воображению именно американцев, которое в национальном масштабе отличается удивительной детскостью, ибо американцы принадлежат к числу народов, чье простодушие спасло

мир. Леблану удалось увлечь своей идеей президента Америки и американское правительство. Во всяком случае, они поддержали его в достаточной мере, чтобы придать ему вес в глазах наиболее скептически настроенных правителей европейских государств, и, заручившись такой поддержкой, он взялся — ничего более фантастического нельзя, казалось бы, придумать — свести вместе правителей всех государств и объединить их. Он писал неисчислимые письма, рассылал депеши, предпринимал самые рискованные путешествия и вербовал себе союзников везде, где только мог;

никто не казался ему лицом слишком незначительным для осуществления его целей или настолько упрямым, что его не стоило убеждать. В страшную осень последней войны этот неутомимый провидец в очках был похож на неунывающую канарейку, отважно щебечущую среди грома и молний. И никакие бедствия и катастрофы не могли поколебать его уверенность в том, что этим бедствиям может быть положен конец.

А в те дни земля вся была в огне войны и разрушения достигли неслыханных размеров. На вооруженном до зубов земном шаре одно государство за другим,

предвосхищая возможность нападения, спешило нанести удар. В исступлении и страхе они бросались в войну, стремясь раньше других пустить в ход свои бомбы. Китай и Япония напали на Россию и уничтожили Москву, Соединенные Штаты обрушили свой удар на Японию, в Индии бушевало стихийное восстание, и Дели превратился в огненный кратер, изрыгающий пламя и смерть, а грозный балканский король объявил мобилизацию. Казалось бы, каждому в те страшные дни должно было наконец стать ясно, что мир очертя голову устремляется к анархии. Весной 1959 года уже около двухсот,

центров цивилизации (и каждую неделю их количество возрастало) были превращены в негаснущие очаги пожаров, над которыми ревели малиновое пламя атомных взрывов. Вся промышленность была полностью дезорганизована, хрупкая система мирового кредита рухнула, и во всех городах, во всех населенных местностях людям грозил голод или они уже голодали. Почти все столицы были в огне, погибли миллионы людей, и многие обширные области уже никак не управлялись. По словам одного писателя того времени, человечество было подобно спящему, который бессознательно играет спичками и пробуждается, объятый

пламенем.

Найдутся ли на всем земном шаре воля и ум, способные, действуя в столь непривычных условиях, противостоять происходящему и сделать хотя бы попытку предотвратить полное крушение всей социальной системы? Этот вопрос в течение многих месяцев оставался открытым. На какое-то время дух войны сделал бесплодными любые попытки сплотить все созидательные силы, все силы, направленные на сохранение порядка. Леблан был похож на человека, который пытается образумить землетрясение и ищет здравый смысл в кратере Этны. Хотя еле державшиеся у кормила власти

официальные правительства теперь были бы рады заключению мира, банды безответственных и не поддающихся убеждению патриотов, узурпаторов, авантюристов и политических головорезов разного рода оказались обладателями несложных аппаратов высвобождения атомной энергии и могли создавать новые очаги разрушения. Каролиний таил в себе неотразимую притягательную силу для некоторых умов. Зачем уступать, если еще можно уничтожить противника? Сдаваться? В то время, как еще осталась возможность взорвать неприятеля и развеять его прах по ветру? Власть разрушать,

которая была когда-то высшей привилегией правительств, стала теперь единственной силой, и она правила миром везде и повсюду. На земле оставалось уже немного мыслящих людей, которые в этот период, когда мир грозил превратиться в огненную пустыню, не впали бы, подобно Барнету, в отчаяние, восклицая вместе с ним:

— Это конец!..

И все это время Леблан, поблескивая очками, ездил то туда, то сюда, с неистощимой силой убеждения доказывая разумность своей идеи, и к нему постепенно начали прислушиваться. Ни разу за все время не проявил он и тени

сомнения в том, что весь этот хаос должен прийти к концу. Ни одна нянька среди самых отчаянных воплей в детской не была так непоколебимо уверена, что в конце концов и здесь воцарится покой. Сначала к нему относились как к забавному фантазеру, затем мало-помалу его фантазии стали находить хотя и сумасбродными, но все же осуществимыми. А еще через некоторое время его уже считали практическим человеком. Люди, которые в 1958 году выслушивали его с улыбкой нетерпения, в начале 1959 года уже настойчиво спрашивали, что, по его мнению, следует предпринять. И он излагал свои

мысли с терпеливостью философа и ясной точностью француза. Он начал получать все более и более обнадеживающие ответы. Переплыв Атлантический океан, он направился в Италию и здесь, заручившись обещаниями различных лиц, стал готовить конференцию. Мы уже упомянули выше причины, побудившие его избрать для этой цели высокогорные луга над Бриссаго.

— Мы должны освободиться от всех старых, укоренившихся ассоциаций, — заявил он.

Путем реквизиции он начал добывать все необходимое для предстоящего совещания, делая это

со спокойной уверенностью, полностью оправдавшей себя. И вот совещание, которому предстояло установить новый социальный порядок в мире, собралось, не слишком на первых порах уверенное в успехе. Леблан, созывая свою конференцию, держался без всякого высокомерия и руководил ею с предельной скромностью. На высоких склонах гор появились люди с аппаратами беспроводного телеграфа; за ними последовали другие — с палатками и провиантом; подвели подвесную дорогу к линии Бриссаго — Локарно. Приехал Леблан. Он тщательно проверил каждую мелочь, которая могла бы

нарушить ход совещания и внести диссонанс. Его можно было скорее принять за высланного вперед курьера, чем за инициатора совещания. Затем на аэропланах, подвесной дорогой или иным способом прибыли те, кто был призван решить судьбу мира. Это совещание не носило никакого специального наименования. В нем приняли участие девять монархов, президенты четырех республик, некоторые министры и посланники, а также видные журналисты и другие такие же влиятельные деятели. Присутствовали и представители науки, приехала даже мировая знаменитость, старец Холстен,

чтобы вместе с другими вложить
свою долю дилетантской
государственной мудрости в
разрешение самой сложной и
грозной проблемы века. У одного
только Леблана могло хватить
решимости собрать вместе как
номинальных правителей, так и
истинных властителей мира наряду с
величайшими умами современности
и мужественно надеяться, что они
могут прийти к соглашению...

И наконец один из приглашенных на это совещание представителей различных держав пришел пешком. Это был король Эгберт — молодой король почтенного и древнего королевства Европы. Эгберт был король-мятежник и всегда бунтовал против своего высокого положения. Он любил предпринимать длинные пешеходные путешествия и предпочитал ночевать под открытым небом. На этот раз он прошел пешком перевал Санта-Мария-Маджоре и в лодке добрался по озеру до Бриссаго; отсюда — снова пешком

— направился в горы по прелестной дороге, обсаженной дубами и каштанами. Он взял с собой в путь — так как вовсе не намерен был спешить — пакеты хлеба и сыра. Свою небольшую свиту, которая была необходима в столь торжественном случае для его личного комфорта и престижа государства, он отправил вперед по подвесной дороге, так что с ним шел только его секретарь Фермин — ученый, ради этого поста оставивший профессорскую кафедру мировой политики в Лондонском институте социологических, политических и экономических наук. Фермин, в большей мере обладавший умом, чем проницательностью,

рассчитывал, что в своем новом положении будет пользоваться значительным влиянием, и даже теперь, по прошествии нескольких лет службы, едва начинал сознавать, насколько его функции сводятся лишь к тому, чтобы слушать. Прежде он занимался проблемами международной политики и был крупным авторитетом в вопросах тарифов и общегосударственной стратегии и весьма уважаемым сотрудником некоторых крупных печатных органов, призванных отражать общественное мнение, но атомные бомбы захватили его врасплох, и он все еще никак не мог освободиться до конца от своих

доатомных взглядов и побороть влияние этих длительных взрывов, заставивших его умолкнуть.

Король сумел полностью освободить себя от всяческих оков придворного этикета. В теории — а он очень любил теоретизировать — его манеры были крайне демократичны. И если обе бутылки пива нес Фермин, раздобывший в одной из городских лавчонок рюкзак, то король допустил это только по недосмотру и в силу привычки. Собственно говоря, он никогда в жизни ничего не носил сам, но как-то ни разу не заметил этого.

— Мы никого не возьмем с собой, — сказал король. — Никого.

Все должно быть предельно просто.

И Фермин нес бутылки с пивом.

Поднимаясь в гору — темп в основном задавал не Фермин, а король, — они обсуждали предстоящее совещание, и Фермин с некоторой неуверенностью, немало удивившей бы его самого в те годы, когда он был профессором, сделал попытку наметить политический курс своего спутника.

— Я признаю, ваше величество, — сказал Фермин, — что общая идея проекта, выдвинутого Лебланом, может быть осуществлена, но вместе с тем, хотя я и согласен, что было бы, вероятно, желательно установить некоторого

рода общий контроль над
международными делами — нечто
вроде Гаагского международного суда
с более расширенными
полномочиями, — это еще отнюдь не
причина отказываться от основных
принципов национальной и
государственной суверенности.

— Фермин, — оказал король, —
я намерен подать достойный пример
всем моим братьям-королям...

Фермин изобразил
любопытство, за которым скрывался
страх.

— ...послав к чертям весь этот
вздор, — закончил король.

И он прибавил шагу как раз в
тот момент, когда Фермин, уже

порядком запыхавшийся, собрался что-то ответить.

— Я намерен покончить со всем этим вздором, — сказал король, едва Фермин открыл рот. — Я намерен бросить мою империю и мой королевский сан на стол и заявить, что торговаться не буду. Люди слишком много торговались из-за прав — вот что больше всего мешало им жить — везде и всегда. Я намерен положить конец этой бессмыслице.

Фермин остановился как вкопанный.

— Но позвольте, ваше величество! — вскричал он.

Король тоже остановился, шагов на шесть впереди, и поглядел через

плечо на вспотевшую физиономию своего советника.

— Неужто вы в самом деле думаете, Фермин, что я явился сюда как какой-нибудь прожженный политикан, чтобы создать из моего флага, моей короны, моих претензий и прочего и прочего препятствия на пути к миру? Этот французик прав. И вы это знаете не хуже меня. Все это принадлежит прошлому. Мы, все мы — короли, и правители, и представители государств — первопричина этого зла. Ведь мы проявление и символ разобщенности, а разобщенность всегда таит в себе угроза войны, а угроза войны, конечно, приводит к

накапливанию все большего и большего количества атомных бомб. Эта старая, как мир, игра окончена. Однако что же мы остановились? Надо идти. Мир ждет. А вы не считаете, что игра окончена, Фермин?

Фермин поправил лямку рюкзака и вытер ладонью вспотевший лоб.

— Я допускаю, ваше величество, — хмуро сказал он вслед удаляющейся спине, — что должна быть создана определенная гегемония, некий союз, вроде древней Амфиктионии.

— Должна быть создана единая и самая простая форма управления

для всей земли, — бросил король
через плечо.

— Но безоговорочное,
безрассудное отречение, ваше
величество...

— Бух! — воскликнул король.

Прерванный подобным образом,
Фермин умолк. Но легкое облачко
досады набежало на его
разгоряченный лоб.

— Вчера, — сказал король,
поясняя свое междометие, — японцы
чуть-чуть не покончили с Сан-
Франциско.

— Я этого не слышал, ваше
величество.

— Американцы сшибли
японский аэроплан в океан, и бомба

взорвалась под водой.

— Под водой, ваше величество?

— Да. Образовался подводный вулкан. Пар виден с Калифорнийского побережья. Вот как близко они подобрались. И в то время как творятся подобные дела, вы хотите, чтобы я взобрался на эту гору и начал торговаться. Вообразите, какое впечатление произведет это на его величество — моего кузена... да и на всех прочих!

— Он-то будет торговаться, ваше величество.

— Ничего подобного, — оказал король.

— Но как же, ваше величество?

— Леблан ему не позволит.

Фермин снова резко
остановился и злобно дернул
ненавистную лямку.

— Он будет прислушиваться к
голосу советников, ваше
величество, — сказал он голосом,
который не оставлял сомнений, что в
поведении рюкзака каким-то
образом виноват король.

Король оглянулся.

— Надо подняться еще
немного, — сказал он. — Я хочу
добраться до безлюдного селения,
про которое нам говорили, и там мы
выпьем наше пиво. Это должно быть
близко. Мы выпьем пиво и выбросим
бутылки. И после этого, Фермин, я
попрошу вас взглянуть на вещи в

более широком аспекте... Потому что вам это необходимо, поверьте...

Король зашагал дальше, и некоторое время не слышно было ничего, кроме стука башмаков по кремнистой дороге да учащенного дыхания Фермина.

Наконец (как подумал Фермин) или вскоре (как показалось королю) подъем стал менее крут, тропа расширилась, и путники очутились в необыкновенно красивом месте. Это был один из тех высокогорных поселков, которые еще сохранились в горах Северной Италии — несколько лепящихся тесными рядами домиков и сараев — и становились обитаемыми только в разгар лета, а

зимой и весной, вплоть до середины июня, стояли обычно на замке и пустовали. Все домики, сложенные из красивого светло-серого камня, затененного каштанами, утопали в густой траве, в рамке ярко-золотого дрока. Король еще никогда в жизни не видел такого великолепного цветения дрока, и, взглянув на него, он громко выразил свой восторг; казалось, дрок не столько поглощает солнечный свет, сколько сам излучает его. Король тотчас опустился на замшелый камень, с трудом извлек из кармана хлеб и сыр и попросил Фермина сунуть бутылки с пивом в траву, где-нибудь в тени, чтобы их охладить.

— Подумать только, Фермин, чего лишают себя люди, которые летают на воздушных кораблях! — сказал он.

Фермин обвел селение неодобрительным взглядом.

— Вы наблюдаете это в наиболее выгодном свете, ваше величество, — сказал он. — А потом сюда вернутся крестьяне и все загрязнят.

— Красота все равно останется, — сказал король.

— Поверхностная, ваше величество, — сказал Фермин. — Однако эта деревушка — символ быстро исчезающего социального порядка. Если обратить внимание на

траву, которой заросли эти камни и которая пробивается даже в хижинах, то я склонен сделать вывод, что ею уже перестали пользоваться.

— Мне кажется, — сказал король, — что люди придут сюда, как только будут скошены цветущие луга. Вероятно, сюда приходят загорелые девушки, с красными платочками на черных волосах, и неторопливые палевые коровы, каких мы видели на дорогах внизу... Как же приятно сознавать, что эти прекрасные старинные формы жизни так неувядаемы! Еще во времена Рима и даже за много столетий до него, когда еще и слух о римлянах не долетал до этого края, люди с

наступлением лета пригоняли сюда свои стада... Какие призраки витают над этими лугами!.. Сколько столкновений, сколько надежд!.. Дети развились здесь, росли, превращались в стариков и старух и умирали — и так из поколения в поколение, тысячи человеческих жизней. Влюбленные, бесчисленные влюбленные ласкали друг друга среди золотого дрока...

Он задумался, усердно пережевывая хлеб с сыром.

— Жаль, что мы не захватили с собой кружки для пива, — сказал он.

Фермин достал складной алюминиевый стаканчик, и король соизволил напиться.

— Мне бы хотелось, ваше величество, — внезапно сказал Фермин, — убедить вас по крайней мере не спешить с вашим решением...

— Не стоит говорить об этом, Фермин, — сказал король. — Для меня все ясно, как божий день.

— Ваше величество, — взмолился Фермин, с трудом справляясь с хлебом, сыром и охватившим его неподдельным волнением, — неужели у вас нет уважения к вашему королевскому сану?

Помолчав, король ответил с необычной серьезностью:

— Именно потому, что оно у

меня есть, Фермин, я и не хочу быть марионеткой в этой игре международных интересов. — Несколько секунд он задумчиво смотрел на своего спутника, а затем добавил:

— Королевский сан! А что вы знаете о королевском сани, Фермин? Да! — крикнул король своему растерявшемуся советнику. — Впервые в жизни я собираюсь стать настоящим королем. Я намерен возглавить великое дело и полагаюсь только на себя. Десятки поколений моя династия была лишь марионеткой в руках своих советников. Советники! А теперь я намерен стать подлинным королем...

И я намерен... я намерен сбросить с себя, уничтожить корону, которая делала меня рабом, покончить с ней раз и навсегда. Да, это грохочущее взрывчатое вещество уничтожило массу обветшало́го и вредоносного хлама! Окостеневший старый мир снова бурлит и плавится в огне, как в плавильном тигле, и если я был лишь начинкой королевской мантии, то теперь я стал королем среди королей. Я призван сыграть свою роль, став во главе событий и положив конец крови, огню и бессмысленному хаосу.

— Но, ваше величество... — не унимался Фермин.

— Этот Леблан прав. Мир

должен объединиться в республику, единую и неделимую. Вы это сами понимаете, а мой долг — помочь это осуществить. Король должен возглавить свой народ, а вы хотите, чтобы я сидел у него на шее, словно Морской Старик на шее Синдбада-Морехода. Сегодня мы должны привести к присяге королей. Человечество более не нуждается в нашей опеке. Мы должны разделить с ним наши мантии, мы должны разделить с ним нашу королевскую власть и сказать людям: теперь каждый из вас король и должен править миром... Неужели вы, Фермин, не чувствуете величия этой минуты? А вы хотите, чтобы я

поднялся туда, на эту гору, и затеял там торг, и, словно какой-нибудь жалкий сутяга, набивал себе цену, выторговывал компенсации, требовал полномочий...

Фермин пожал плечами с покорностью отчаяния, а затем доказал делом старую истину, что при любых обстоятельствах человек должен есть.

Некоторое время оба молчали; король ел и перебирал в уме фразы речи, которую он готовил для совещания. Из уважения к древности его короны его просили председательствовать на совещании, и он был намерен использовать эту возможность так, чтобы память о

нем осталась в веках. Убедившись, что красноречие ему не изменило, он на несколько секунд задержал взгляд на расстроенном и хмуром лице Фермина.

— Фермин, — сказал он, — вы идеализировали королевский сан.

— Ваше величество, — уныло сказал Фермин, — мечтой всей моей жизни было служить ему.

— Дергая за ниточки, Фермин, — сказал король.

— Вам угодно быть несправедливым, ваше величество, — ответил Фермин, глубоко уязвленный.

— Мне угодно покончить с несправедливостью, — сказал

король. — Ах, Фермин, — продолжал король, — неужели вы нисколько мне не сочувствуете? Неужели вы никогда не поймете, что я не просто плоть и кровь, но еще и дух и воображение со всеми его правами. Я король, восставший против оков, которые зовутся короной. Я пробудившийся король. Мои досточтимые дед и прадед никогда за всю свою августейшую жизнь не пробуждались ни на секунду. Им нравилось занятие, которое вы, да, вы, их советники, дали им: у них никогда не возникало сомнений в его целесообразности. А ведь это все равно, что дать куклу женщине, которой следовало бы

иметь детей. Они с наслаждением участвовали во всяческих церемониях и процессиях, открывали памятники, принимали верноподданнические адреса, посещали столетних старцев и тройняшек и проделывали еще многое в этом же роде. И все это доставляло им невероятную радость. Они собирали альбомы газетных и журнальных вырезок, где они были изображены во время какой-нибудь подобной церемонии, и если пакеты этих вырезок становились тоньше, это их тревожило. Только это их и тревожило. А во мне есть какой-то атавизм. Мои симпатии влекут меня назад, к неконституционным

монархам. Вероятно, имена, данные мне при крещении, восходят к слишком дальним предкам. Мне хотелось действовать. Мне было скучно. Я мог бы, как большинство принцев, погрязнуть в пороке, если бы нравы нашего дворца не были против обыкновения действительно строгими. Я был воспитан при самом целомудренном дворе, когда-либо существовавшем на земном шаре... Бдительно целомудренном... И я стал читать книги, Фермин, и задавать вопросы. Это должно было случиться с кем-то из нас рано или поздно. Очень может быть, что я просто от природы не слишком порочен. Во всяком случае, я так

считаю. — С минуту он размышлял. — Да, это так.

Фермин кашлянул.

— Я согласен с вами, ваше величество, — сказал он. — Вы предпочитаете...

Он не договорил. У него чуть не сорвалось с языка — «болтовню», но он подыскал другое слово: «идеи».

— О этот мир венценосцев! — продолжал король. — Скоро никто не будет понимать, что это такое. Он станет для всех загадкой... Это был наряду со всем прочим мир парадных одежд. Для нас все непременно облачалось в парадные одежды и почти всегда украшалось флагами. А глаз киноаппарата должен был

следить, чтобы мы принимали это как положено. Если вы, Фермин, король и отправитесь поглядеть на какой-нибудь полк, он мгновенно бросит заниматься своим делом, наденет полную парадную форму, станет смирно и возьмет на караул. Когда мои августейшие родители отправлялись куда-нибудь в поезде, в тендер засыпали побеленный уголь. Да, Фермин, его белили, а если бы уголь от природы был белый, а не черный, я уверен, что железнодорожное начальство распорядилось бы его почернить. Вот как с нами обходились. Люди всегда повертывались к нам лицом. Мы никого и ничего не видели в

профиль. Создавалось впечатление, что весь мир с упорством маньяка не сводит с нас глаз. А когда я начинал задавать канцлеру, архиепископу и всем остальным свои наивные вопросы, пытаюсь узнать, что я увидел бы, если бы кто-нибудь повернулся ко мне спиной, мне только давали понять, что я, увы, не проявляю должного такта, которого требует от меня мой сан... — Он опять на мгновение задумался. — И все же, вы знаете, Фермин, в этом есть кое-что. Королевское достоинство распрямило плечи и придало осанку моему августейшему коротышке-дедушке. Оно придавало моей бабушке своеобразное

неуклюжее величие даже в те минуты, когда она сердилась, а сердилась она очень часто. У них обоих было в высокой степени развито чувство долга. Мой бедный отец все время прихварывал во время своего недолгого царствования, но никто, кроме самых приближенных лиц, не знает, чего ему стоило каждое появление на публичных церемониях. «Мой народ ждет этого от меня», — говорил он обычно про ту или иную утомительную обязанность. Почти все, что его заставляли делать, было глупо, как все скверные традиции, но в том, как он это делал и почему, не было ничего глупого... Сознание своего

королевского достоинства —
отличная вещь, Фермин, и оно у меня
в крови; трудно себе представить,
чем я мог бы стать, не будь я
королем. Я мог бы умереть за мой
народ, Фермин, а вы не можете. Нет,
только не говорите, что вы готовы
умереть за меня, потому что это
неправда. Не думайте, что я забываю
про мой королевский сан, Фермин,
не внушайте себе это. Я король,
истинный король, помазанник
божий. То, что я в то же время
болтливый молодой человек, ни в
какой мере не меняет дела. Но
только настоящий учебник для
королей, Фермин, — это вовсе не
придворные летописи и не труды,

посвященные «Welt-Politik», которые вы хотели бы заставить меня читать; нет, это «Золотая ветвь» старика Фрэзера. Вы читали его когда-нибудь, Фермин?

Фермин читал.

— Вот то были подлинные короли. Потом их разрубили на куски, и всем доставалось понемножку. Так королевское достоинство было привито всем народам.

Фермин обернулся и посмотрел в лицо своему августейшему собеседнику.

— Что же вы намерены предпринять, ваше величество? — спросил он. — Если вам не угодно

послушаться моего совета, то как вы предполагаете поступить сегодня?

Король стряхнул крошки с одежды.

— Совершенно очевидно, Фермин, что войне должен быть положен конец раз и навсегда. Совершенно очевидно, что этого можно достичь, только создав единое правительство для всего земного шара. Наши скипетры и короны мешают этому. Совершенно очевидно, что они должны исчезнуть.

— Отлично, ваше величество, — перебил его Фермин, — но *какое* правительство? Я не вижу, какое правительство можете вы создать, если все сложат с себя власть.

— Ну что ж, — сказал король, обхватив руками колени. — Вот мы и будем этим правительством.

— Это совещание? — воскликнул Фермин.

— А кто же еще? — спокойно спросил король. — Это же страшно просто, — добавил он в ответ на потрясенное молчание Фермина.

— Но, — вскричал Фермин, — вы же должны получить полномочия! Будут же у вас, например, хотя бы какие-нибудь выборы?

— А к чему они? — любознательно поинтересовался король.

— Чтобы получить согласие тех, кем вы будете управлять.

— Нет, Фермин, мы просто собираемся покончить с нашими разногласиями и принять на себя руководство. Без всяких выборов. Без всяких полномочий. Руководимые изъявляют свое согласие молчанием. Если же возникнет какая-нибудь деловая оппозиция, мы попросим ее присоединиться к нам и помочь. Истинная санкция королевского сана — это умение крепко держать скипетр. Мы не хотим причинять людям лишние хлопоты. Я убежден, что большинство людей совершенно не хочет, чтобы их беспокоили всякими голосованиями. А для тех, кто захочет присоединиться к нам, мы найдем способ это сделать. Этого

совершенно достаточно, чтобы была соблюдена демократия. Быть может, впоследствии, когда все уладится... Мы, Фермин, будем управлять как следует. Управлять государством становится трудно в тех случаях, когда начинают распоряжаться юристы, а с тех пор как на нас обрушились все эти бедствия, юристы притихли. Да, кстати, куда они все подевались?.. Где они? Многие, конечно, — причем наиболее зловердные — были убиты, когда взорвали мою законодательную палату. Вам, правда, не доводилось встречаться с покойным канцлером?.. Необходимость погребаёт права. И создаёт их. Юристы питаются

мертвечиной, выкапывая из могил отжившие права... Такой образ жизни нам больше не нужен. Мы ограничимся законами, которые содержат в себе уголовный кодекс, во всем остальном наше правительство будет свободно в своих действиях... Поверьте мне, Фермин: сегодня, еще до заката солнца, мы, все мы, отречемся от власти и провозгласим Всемирную республику, единую и неделимую власть. Интересно, как бы посмотрела на это моя августейшая бабушка! Все мои королевские права!.. А затем мы начнем править. А что же нам еще остается делать? Мы объявим всему миру, что больше не существует

«моего» и «твоего», а только «наше». Китай, Соединенные Штаты и две трети Европы, несомненно, поддержат нас и будут повиноваться. Им придется это сделать. А что еще им остается? Их официальные правители находятся здесь, среди нас. Им просто не придет в голову, что нам можно не повиноваться. А мы затем объявим, что право владения любой собственностью отныне переходит к Республике...

— Как, ваше величество! — вскричал Фермин, который внезапно понял все. — Вы уже обо всем договорились заранее?

— Дорогой мой Фермин, неужели вы думаете, что мы, все мы,

собрались сюда для отвлеченных разглагольствований? Мы разглагольствуем уже полстолетия. Разглагольствуем и пишем. А здесь мы собираемся, чтобы создать нечто новое, простое, очевидное и необходимое.

Он встал.

Фермин, изменив многолетней привычке, остался сидеть.

— Да-а! — произнес он наконец. — И мне ничего не было известно!

Король весело улыбнулся. Он любил поболтать с Фермином.

Никогда еще мир не видел столь пестрого съезда различных выдающихся деятелей, как тот, который собрался на лугах над Бриссаго. Сильные державы и мелкие княжества, потрясенные и обескровленные, лишившиеся своего таинственного, горделивого величия, встретились, исполненные невиданного смирения. Здесь собрались короли и императоры, чьи разрушенные столицы были превращены в огненные озера, государственные деятели, чьи страны были ввергнуты в хаос, смертельно напуганные политики и финансовые

магнаты. Среди них находились также замечательные мыслители того времени и ученые исследователи, которых было не так-то просто уговорить на время оставить избранное ими поле деятельности и приобщиться к власти. Всего собралось девяносто три человека — те, кого Леблан считал самыми выдающимися представителями современности. Все они мало-помалу осознали те простые истины, которые неутомимый Леблан усердно вбивал им в голову. Леблан, финансируемый королем Италии, обставил созванное им совещание с изысканной простотой, что вполне отвечало его характеру, и получил

наконец возможность обратиться к человечеству со своим удивительным, но вполне разумным призывом. Короля Эгберта он просил быть председателем, и его вера в этого молодого человека была так велика, что он мгновенно оттеснил его на задний план, и, выступая как бы в роли секретаря, сидящего по левую руку председателя, сам, по-видимому, даже не замечал, как дает указания всем собравшимся, что именно им надлежит делать. Ему же казалось, что он всего лишь резюмирует в общих чертах положение вещей для большей ясности. Одет он был в мешковатый белый чесучовый костюм и держал в

руках несколько исписанных помятых листков бумаги, в которые, произнося свою речь, время от времени заглядывал. Они его явно смущали. Он объяснил, что прежде никогда не пользовался конспектом, но это случай особый.

А потом настал черед короля Эгберта, и он сказал именно то, что должен был сказать: у Леблана от наплыва чувств даже слегка затуманились очки, пока он слушал эту благородную речь, исполненную свободной непринужденности.

— Нам следует отказаться от каких-либо формальностей, — сказал король, — нам нужно править миром. Мы всегда делали вид, что

правим миром, и вот теперь настало время подтвердить слово делом.

— Так-так, — шептал Леблан, кивая головой, — так-так.

— Мир постигла жесточайшая катастрофа, и мы призваны вновь поставить его на рельсы, — говорил король Эгберт. — И этот момент кризиса преподает нам простой урок: настало время, когда каждый должен вносить свою долю в общее дело, не ища выгоды для себя. Правильно ли я выразил дух нашего собрания?

Собрание было слишком разнородным и состояло из людей слишком пожилых и привыкших к сдержанности, чтобы чересчур бурно

проявлять свой энтузиазм, однако дух собрания был выражен правильно, и, еще не оправившись от удивления, но мало-помалу все более и более оживляясь, присутствующие начали один за другим слагать с себя полномочия, отрекаться от престола и торжественно прокламировать свои намерения. Фермин, который сидел позади короля Эгберта и записывал речи ораторов, увидел воочию, как осуществляется все то, что было предсказано ему среди золотого дрока. Чувствуя себя странно, словно во сне, он присутствовал при провозглашении нового государства — Всемирного государства — и видел, как

сообщение об этом было передано телеграфистам и аппараты беспроводного телеграфа разнесли его по всем обитаемым уголкам земного шара.

— А теперь, — с радостным выражением сказал король Эгберт, и в голосе его прозвучала веселая, ликующая нотка, — мы должны взять под контроль все запасы каролиния, вплоть до последнего атома, и все аппараты для его изготовления...

Фермин не был одинок в своих сомнениях. Здесь не было ни одного человека, который в конце концов не был бы доброжелательным, разумным и рассудительным.

Некоторые из них получили власть по праву рождения, другим она досталась случайно, третьи долго ее добивались, хорошенько не понимая, что она такое и что за собой влечет, но ни один из них не захотел бы удерживать ее в своих руках ценой неслыханной катастрофы. И всем ходом событий и усердными стараниями Леблана их умы были уже подготовлены к тому, что сейчас совершилось, и теперь со смешанным чувством неизбежности и невероятности всего происходящего они ступили на тот прямой и широкий путь, по которому был готов их повести король Эгберт. Все проходило очень гладко. Король

Италии рассказал о мерах, принятых для защиты совещания от любого, самого неожиданного нападения: они находятся под охраной двух тысяч аэропланов с метким стрелком на борту каждого, кроме того, их лагерь имеет превосходную систему связи со всем миром, и наконец десятки прожекторов будут обшаривать небо. Затем Леблан подробно объяснил, почему он собрал их именно здесь и почему именно здесь им удобнее всего будет заниматься своей дальнейшей деятельностью. Лет двадцать назад он случайно набрел на это местечко, когда они с мадам Леблан путешествовали в этих краях.

— Наша пища пока будет очень

проста, так как и эта страна и все соседние разорены, — сказал он. — Однако у нас будет превосходное свежее молоко, отличное красное вино, хлеб, говядина, салат и лимоны... А через несколько дней я надеюсь найти более расторопного поставщика...

Новые правители мира расположились обедать за тремя длинными столами, сооруженными из досок, положенных на козлы, но каждый стол, невзирая на чрезвычайную скудость меню, Леблан украсил огромными букетами прекрасных роз. На уступе пониже за такими же столами обедали секретари и другие сопровождавшие

лица; собрание обедало так же, как и заседало, — под открытым небом, и июньский закат, пылавший над черным кряжем на западе, озарял всю сцену. Среди девяноста трех не было теперь главенства, и король Эгберт сидел между незнакомым любезным маленьким японцем в очках и своим кузеном, королем одной из европейских держав. Напротив них сидели президент Соединенных Штатов и великий бенгальский мыслитель. Рядом с японцем поместился старый химик Холстен, а напротив него, чуть подалее, — Леблан.

Король Эгберт был по-прежнему весел, словоохотлив и излагал

множество интересных мыслей. Вскоре у него завязался дружеский спор с американцем, который, по-видимому, считал, что их совещанию не хватает пышности.

По ту сторону океана, вероятно, из-за необходимости разрешать общественные проблемы в шумной и громоздкой манере всегда существовала склонность к внушительным и ошеломляющим церемониям, и президент был подвержен этой национальной слабости. Он заявил, что начинается новая эра, и предложил с этого дня, который должен был стать первым днем нового года, ввести новое летосчисление.

Король выразил сомнение в разумности такой меры.

— В этот день, сэр, — сказал американец, — человечество достигло совершеннолетия.

— Человечество, — сказал король, — достигало совершеннолетия непрерывно. Вы, американцы, прошу меня простить, очень любите разного рода юбилеи. Да, я обвиняю вас в излишнем пристрастии к театральным эффектам. Всегда, каждую минуту что-нибудь происходит, но вам непременно хочется, чтобы та или эта минута была особенно важной, а все другие — второстепенными.

Американец заметил, что этот

день, во всяком случае, кладет начало новой эпохе.

— Неужели вы хотите, — сказал король, — чтобы мы обрекли все человечество на ежегодное всемирное Четвертое июня отныне и присно и во веки веков? И все только потому, что в этот скромный безобидный день нам необходимо было сделать ряд заявлений. Нет, ни один день в календаре не заслуживает этого! Ах! Вы ведь не испытали на себе так, как я, разрушительного действия мемориальных дней! Мои бедные предки были буквально расчленены на даты. И самое ужасное в этих пышных юбилейных торжествах то,

что они нарушают естественную, благородную последовательность своевременных эмоций. Они разрывают ее. Они отбрасывают назад. Внезапно начинают развеяться флаги, вспыхивает иллюминация и всячески подновляется одряхлевший энтузиазм, а это — грубое насилие над тем истинным и подлинным, что должно было бы происходить само по себе. Для каждого дня совершенно достаточно той торжественности, которая заложена в нем самом. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. Как видите, в том, что касается календаря, я стою на демократических, а вы — на

аристократических позициях. Все на свете суверенно и имеет право на существование соразмерно своим заслугам. Ни один нынешний день не должен приноситься в жертву на могиле отошедших в прошлое событий. А вы что скажете, Вильгельм?

— Для достойного — да, достойны все дни.

— Полностью совпадает с моей точкой зрения, — сказал король и остался очень доволен всем, что он говорил.

Но американец продолжал настаивать на своем, и король постарался перевести разговор с вопроса о праздновании новой

творимой ими эры на вопрос о ближайшем будущем. И тут всех присутствующих обуяла нерешительность. Все готовы были представить мир объединенным и покончившим с войнами, но что конкретно должно последовать за таким объединением, никто, по-видимому, не расположен был обсуждать. Такая единодушная сдержанность поразила короля. Он заговорил о возможностях, открывающихся перед наукой. Все те колоссальные средства, которые до сих пор вкладывались в непроизводительные военные приготовления на суше и на море, должны теперь, заявил он, дать

невиданный толчок развитию наук.

— Там, где до сих пор работали единицы, будут работать тысячи, — сказал он и повернулся, ища поддержки, к Холстену. — Мы ведь пока только поглядываем в щелочку на эти огромные возможности. А вот вы уже начали измерять глубину этих тайников, где скрыты сокровища.

— Они бездонны, — улыбнулся Холстен.

— Человечество, — сказал американец, желая оставить за собой последнее слово в споре с королем, — человечество, говорю я, только сейчас достигло совершеннолетия и вступает в права наследства.

— Расскажите нам что-нибудь о том, что нам предстоит узнать, дайте нам хотя бы некоторое представление о том, что станет нам вскоре доступным, — сказал король, по-прежнему обращаясь к Холстену.

Холстен открыл перед ними сияющие дали...

— Наука, — воскликнул король, — вот новый властелин мира!

— Мы считаем, — сказал президент, — что верховная власть принадлежит народу.

— Нет! — сказал король. — Верховный властитель не так очевиден и не столь арифметически сложен. Ни моя династия, ни ваш

эмансипированный народ не годятся для этой роли. Это нечто такое, что вокруг нас, и над нами, и внутри нас. Это та общественная обезличенная воля и чувство необходимости, которые отчетливее всего и типичнее всего выражены в науке. Это разум человечества. Это то, что привело нас сюда, что заставило нас всех подчиниться его велениям...

Король умолк, взглянул на Леблана и снова обратился к своему противнику.

— Кое-кто склонен считать, — сказал король, — что совещание и в самом деле совершает то, что нам кажется, будто оно совершает, словно мы, вот эти девяносто с чем-то

человек, объединяем мир, подчиняясь требованию своей свободной воли и разума. И хочется считать себя воплощением благородства, твердости и решимости. А мы вовсе не таковы. Я убежден, что мы в целом ничуть не более способны, чем любые случайно отобранные девяносто с лишним человек. Мы не созидатели — мы последствия. Мы спасательная команда... или спасаемые. Сейчас значение имеем не мы, а тот ветер убежденности, который согнал нас сюда...

Американец счел необходимым заявить, что, по его мнению, король неправ в оценке их среднего уровня.

— Холстен и еще двое-трое, пожалуй, делают его несколько выше, — согласился король. — Ну, а все остальные?

Его взгляд снова на секунду задержался на Леблане.

— Взгляните на Леблана, — сказал он. — Это же простая душа. Таких, как он, сотни и тысячи. Да, конечно, он энергичен и мыслит очень ясно, но укажите мне хотя бы один французский городок, где в два часа пополудни нельзя было бы найти точно такого же Леблана или весьма похожего на него за столиком наиболее популярного там кафе. Именно потому, что он прост, что в нем нет ничего сложного, ничего

сверхчеловеческого, ничего из ряда вон выходящего, и оказалось возможным совершить все то, что он совершил. Но в другие, более благополучные времена — не правда ли, Вильгельм? — он бы остался тем же, чем был его отец: зажиточным лавочником, очень добропорядочным, очень аккуратным, очень честным. И по праздникам, прихватив с собой кувшин отличного сидра и мадам Леблан с ее вязаньем, он отправлялся бы куда-нибудь в лодочке и, усевшись под большим полосато-зеленым зонтиком, старательно удил бы пескарей...

Американский президент и

японский принц в очках дружно запротестовали.

— Если я к нему несправедлив, — сказал король, — это только потому, что мне хочется как можно нагляднее представить вам мою точку зрения. Мне хочется, чтобы вам стало ясно, как ничтожны люди и дни и как в сравнении с ними велик человек...

Так король Эгберт говорил в Бриссаго, после того как было провозглашено объединение мира. И затем каждый вечер все члены собрания обедали вместе, и непринужденно беседовали, и начинали привыкать друг к другу, и оттачивали свои мысли в спорах. И каждый день они работали сообща и некоторое время в самом деле вполне искренне верили, что создают формы нового, всемирного правительства.

Начали обсуждать конституцию. Однако некоторые вопросы настоятельно требовали немедленного разрешения, и они

занялись ими. Конституция могла и подождать. Понемногу выяснилось (как и предвидел король Эгберт), что ей придется ждать неопределенное время, а пока, приобретая все большую уверенность в себе, собрание продолжало управлять миром...

Вечером, после первого заседания Совета, король Эгберт много говорил, и много пил, и щедро расточал похвалы местному красному вину, которое раздобыл для них Леблан; собрав вокруг себя группу единомышленников, он произнес пространную речь в защиту простоты, превознося ее до небес, и заявил, что высшая, конечная цель

искусства, религии, философии и науки — упрощение. Он объявил себя приверженцем простоты. И привел в пример Леблана как самый блестящий образец этой добродетели, с чем все единодушно согласились.

Когда наконец все встали из-за стола и начали расходиться, король почувствовал необычайный прилив восторженной нежности к Леблану и отвел его в сторону, чтобы обсудить с ним один, как он выразился, пустячок. У него есть, сказал он, орден, который не в пример всем прочим орденам и медалям, какие только существуют на свете, никогда не был опозорен. Он предназначался

исключительно для пожилых людей, обладающих самыми высокими достоинствами, чьи блестящие дарования достигли полной зрелости, и обладателями этого ордена являлись лишь наиболее прославленные люди каждого столетия, поскольку, конечно, в этом вопросе можно доверять королевским советникам. Он понимает, сказал король, что теперь все эти звезды и ленты утратили какое-либо значение, заслоненные более существенными делами, а сам он и раньше не придавал им никакой цены, но, может быть, настанет время, когда к ним будут проявлять ретроспективный интерес, и, короче

говоря, он хотел бы наградить Леблана Орденом Заслуг. Им руководит при этом только одно побуждение, добавил король: искреннее желание выразить Леблану свое глубокое уважение. Говоря это, король почти по-братски положил Леблану руку на плечо.

Леблан принял предложение со смущением и замешательством, отчего король еще больше уверовал в его восхитительную простоту. Он ответил, что как ни лестна для него столь высокая награда, в настоящую минуту это может породить зависть, и поэтому он предлагает отложить награждение до тех пор, пока он не завершит свои труды, которые этот

орден мог бы увенчать. Поколебать его решение королю не удалось, и они расстались, выразив друг другу взаимное уважение.

После этого король призвал к себе Фермина, чтобы продиктовать ему вкратце кое-какие из высказанных им в тот день мыслей. Однако минут через двадцать свежий горный воздух нагнал на него сладкую дремоту, и он, отпустив Фермина, улегся в постель и тотчас погрузился в сон, на редкость глубокий и приятный. Он провел деятельный день и был доволен собой.

Установление нового порядка, начавшееся в таких гуманных формах, протекало — во всяком случае, по мерке прошлых эпох — чрезвычайно быстро. Воинственный дух человечества истощился. Лишь кое-где еще притаилась свирепость. В течение многих десятилетий политическая разобщенность приводила к чудовищному усилению воинственной деятельности человечества. Теперь это стало очевидно. Оказалось, что стремление вооружаться в значительной степени опиралось на побуждения отнюдь не такие уж агрессивные: на страх

перед войной и воинственными соседями. Весьма сомнительно, чтобы когда-либо на всем протяжении истории среди непосредственно воевавших людей нашлась бы более или менее многочисленная группа тех, кто, посвятив себя военной деятельности, и в самом деле был обуреваем жаждой проливать кровь и подвергать свою жизнь опасности. Судя по всему, выйдя из первобытного состояния, человек в среднем утратил склонность к такого рода занятиям. Служба в армии стала профессией, и связанная с ней перспектива убийств рассматривалась скорее как

неприятная возможность, чем как увлекательная неизбежность. Тот, кто будет перелистывать старые газеты и журналы, прилагавшие столько усилий, чтобы не дать угаснуть духу милитаризма, найдет в них не воспевание славы и подвигов, а опасливые рассуждения о неприятных сторонах вражеского вторжения и иноземного ига. Словом, милитаризм был трусостью. Вооруженная до зубов Европа двадцатого века решила воевать, как решает взбесившаяся от страха овца броситься в воду. И теперь, когда смертоносное оружие стало само взрываться в руках Европы, она с радостью готова была отшвырнуть

его от себя и не искать больше мнимого прибежища и спасения в насилии.

Потрясение, пережитое человечеством, заставило его на какой-то срок сбросить личины: почти все умные люди, которые до сих пор поддерживали сложившуюся еще в древности враждебную разобщенность, ощутили внутреннюю необходимость действовать с открытым забралом и без задних мыслей, и в этой атмосфере общего нравственного возрождения почти не было попыток продать свое согласие на новый порядок подороже. Хотя человек, бесспорно, существо в достаточной

мере безрассудное, все же едва ли кто-нибудь станет торговаться, выбираясь из горящего здания по пожарной лестнице. А Совет умел и принимать в этих случаях свои меры, «Патриоты», захватившие лаборатории и арсенал в окрестностях Осаки и пытавшиеся поднять в Японии восстание против включения ее в Единую Республику Человечества, сильно просчитались, делая ставку на национальную гордость, и получили по заслугам от своих же соотечественников. Схватка в арсенале была одной из наиболее ярких страниц последней главы в истории войн. До последней минуты «Патриоты» не могли решить,

следует ли им в случае поражения взорвать свой запас атомных бомб или нет. Решая этот вопрос, они вступили в бой на мечах перед дверями из иридия, и сторонники умеренных действий находились в отчаянном положении — все из них, кроме десятерых, были убиты или ранены, — когда в арсенал ворвались сторонники республики...

Только один монарх во всем мире не пожелал признать новый порядок и подчиниться ему. Это был король балканский, по прозванию «Славянский Лис», непонятный пережиток средневековья. Он вел переговоры, спорил и не спешил отказаться от своих прав. Он проявил необычайную увертливость в соединении с поразительным безрассудством, уклоняясь от многократных вызовов, полученных им из Бриссаго. То он был нездоров, то не мог расстаться со своей новой официальной фавориткой: его полуварварский двор во всем

подражал лучшим романтическим образцам. Эту его тактику умело поддерживал его премьер-министр доктор Пестович. Не сумев добиться для себя полной независимости, король Фердинанд-Карл потребовал, к большой досаде совещания, чтобы его государство было объявлено протекторатом. Наконец в довольно неубедительной форме он заявил о своей покорности и тут же воздвиг целую гору препятствий при передаче государственного аппарата в руки нового правительства. И действия короля горячо поддерживали его подданные — неграмотные крестьяне, исполненные смутного, но

страстного патриотизма и практически еще не знакомые с действием атомных бомб. И главное, он сохранил власть над всеми балканскими аэропланами.

И тут впервые к необычайной наивности Леблана как будто примешалась некоторая двуличность. Он продолжал развивать свою деятельность по мирному объединению всех государств земного шара так, словно принял покорность Балкан за чистую монету, и объявил, что с пятнадцатого июля весь корпус аэропланов, несущий охрану Совета в Бриссаго, будет распущен. На самом же деле в этот знаменательный день он удвоил

воздушную охрану и отдал необходимые распоряжения о соответствующем размещении аэропланов. Он провел несколько совещаний с различными специалистами, и, когда он посвятил короля Эгберта в свои планы, бывший монарх, слушая его необычайно точные и ясные предположения, невольно вспомнил вдруг свою полузабытую фантазию: Леблан под зеленым зонтиком терпеливо удит рыбу.

Семнадцатого июля, около пяти часов утра, один из дальних часовых бриссагского воздушного флота, незаметно круживший в облаках над озером Гарда, заметил чужой

аэроплан, летевший в западном направлении, и окликнул его; не получив ответа, он дал сигнал по беспроволочному телеграфу и пустился в погоню. Почти тотчас над горным кряжем на западе появился рой его товарищей, и, прежде чем неизвестный аэроплан успел увидеть впереди Комо, вокруг него уже смыкалось кольцо из десятка машин. Его авиатор, по-видимому, заколебался, спустился к самым вершинам и повернул на юг, но тут же заметил биплан, летевший ему наперерез. Тогда он снова повернул, взял курс прямо на поднимавшееся из-за гор солнце и прошел на расстоянии ста ярдов от своего

первого преследователя.

Находившийся в этом аэроплане стрелок мгновенно открыл огонь и доказал свою находчивость, прежде всего выстрелив в пассажира. Аэронавт не мог не слышать, как закричал его раненый товарищ, однако он так спешил скрыться, что, боясь потратить хотя бы секунду, даже не оглянулся. За его спиной прозвучали еще два выстрела. Не выключая мотора, он сжался в комок и минут двадцать вел свою машину, каждый миг ожидая получить сзади пулю. Ни одного выстрела не последовало, и когда он наконец оглянулся, то увидел совсем близко три больших аэроплана, а его

товарищ с тремя пулями в теле лежал мертвый на своих бомбах. Его преследователи, несомненно, не собирались ни разбивать его аэроплана, ни убивать его самого, но неумолимо заставляли его спускаться все ниже, ниже, ниже... Он уже заметался в какой-нибудь сотне ярдов над кукурузными и рисовыми полями. Впереди черным силуэтом на фоне утренней зари темнело какое-то селение со стройной колокольной и металлические мачты с проводами, миновать которых он не мог. Он выключил мотор и камнем упал вниз. Быть может, он надеялся, что, сев, успеет добраться до бомб, но его безжалостные преследователи

пронесли над ним и застрелили его прежде, чем он достиг земли.

Три аэроплана опустились по спирали на траву рядом с разбившейся машиной. Из аэропланов выскочили стрелки и, держа в руках свои легкие винтовки, побежали к груде обломков и двум убитым людям. Длинный, похожий на гроб ящик, стоявший на полу аэроплана, сломался, и в нем на подстилке из соломы мирно покоились три черных предмета, каждый с двумя ручками, похожими на ручки кувшина.

Эти предметы настолько приковали к себе внимание победителей, что никто даже не

взглянул на два изуродованных и окровавленных трупа, лежавших среди обломков, словно это были не люди, а случайно раздавленные колесом лягушки на дороге.

— Черт побери! — крикнул один. — Глядите, вот они!

— И совсем не поврежденные! — сказал другой.

— Мне еще никогда не доводилось их видеть, — сказал первый.

— Они больше, чем я думал, — сказал второй.

К ним подошел третий. Секунду он смотрел на бомбы, а затем перевел взгляд на мертвого человека с раздавленной грудной клеткой,

лежавшего среди развороченной земли и зеленой примятой травы, под обломками аэроплана.

— Тут нельзя рисковать, — сказал он, словно извиняясь.

Остальные двое тоже обернулись к своим жертвам.

— Мы должны передать сообщение, — сказал первый.

Черная тень закрыла от них солнце. Они поглядели вверх и увидели аэроплан, из которого был сделан последний выстрел.

— Что передавать? — прозвучал вопрос из мегафона.

— Три бомбы, — хором ответили снизу.

— Откуда они? — спросил

мегафон.

Три стрелка поглядели друг на друга и шагнули к мертвым. Одного осенила какая-то мысль.

— Передавай пока, — сказал он, — а мы тем временем поищем.

Их авиаторы присоединились к ним, и все шестеро, не смущаясь присутствием мертвецов, начали торопливо рыться в обломках в поисках каких-либо примет, чтобы опознать людей и аэроплан. Они обыскивали карманы убитых, их окровавленную одежду, мотор, остатки корпуса. Они перевернули трупы и оттащили их в сторону. Ни на чем не было ни единой метки... ни один предмет не выдал своего

происхождения.

— Мы ничего не можем обнаружить! — сообщили они наконец.

— Никаких следов?

— Никаких.

— Я спускаюсь, — передал человек сверху...

Славянский Лис стоял на металлическом балконе своего причудливого дворца, построенного в новом стиле. Балкон висел над обрывом; внизу, сверкая на солнце, лежала его маленькая белая столица, а рядом с королем стоял Пестович — лукавый, сидящий, с трудом подавляя нараставшее в нем волнение. В растворенную дверь за их спиной был виден зал, отделанный малиновой эмалью и алюминием; из этого зала две распахнутые двери вели в голубую комнату, где телеграфист в башенке склонился над своей нескончаемой

записью; именно к этой фигуре то и дело обращал свои взоры король, снова и снова поглядывая с вопросительным видом через плечо. Два курьера в пышных мундирах застыли в бесстрастном ожидании. Посреди зала, обставленного с внушительной строгостью, стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол с массивными чернильницами из белого металла и старинными песочницами в духе этой новой, но приверженной к романтической старине монархии. В зале происходили заседания королевского совета, и шесть министров, членов кабинета, стояли там, исполненные сдержанного любопытства. Их

созвали к двенадцати часам, но было уже половина первого, а король все еще медлил на балконе и, по-видимому, ждал каких-то известий, которые все не поступали.

Король и его премьер-министр сначала переговаривались шепотом, а затем смолкли, так как им нечего было высказать друг другу, кроме смутного беспокойства. Вдали, на склоне горы, белели длинные металлические кровли хозяйственных построек, фермы, служившие прикрытием для завода, изготовлявшего бомбы, и для склада готовых бомб. (Химик, создавший все это по приказу короля, скоропостижно скончался после

декларации в Бриссаго.) Кроме короля, премьер-министра и трех преданных слуг, никто не знал об этом сосредоточении смерти и разрушения. Авиаторы и их помощники-бомбометатели, ожидавшие сейчас сигнала в своих аэропланах-бомбовозах под палящим полуденным солнцем там, внизу, на плацу перед казармами мотоциклетных войск, не знали, где находятся бомбы, которые им предстояло взять на борт. По плану, разработанному Пестовичем, им уже следовало бы отправляться в путь. Это был превосходный план. Он ставил своей конечной целью не более не менее как создание

всемирной империи. Правительство идеалистов и ученых, заседавшее где-то там, в Бриссаго, должно было взлететь на воздух, вслед за чем вот эти застывшие в ожидании аэропланы устремятся на восток и на запад, на север и на юг, во все концы обезоружившей себя планеты, и провозгласят Фердинанда-Карла новым Цезарем, властелином, владыкой Земли.

Это был великолепный план. Однако ждать в таком напряжении известия, что первый удар нанесен успешно, — это было нелегко.

У Славянского Лиса были белобрысые волосы, мучнистый цвет лица, короткие щетинистые усы,

необыкновенно длинный нос и маленькие голубые глазки, посаженные чересчур близко, чтобы производить приятное впечатление. У него была привычка нервно теревить свои усы в те минуты, когда его беспокойная душа приходила в волнение, и сейчас это непрерывное движение его пальцев выводило Пестовича из себя.

— Я пойду, — сказал премьер-министр, — посмотрю, что случилось с телеграфом. Почему нам ничего не сообщают: ни хороших вестей, ни дурных.

Король остался один и мог теперь теревить свои усы сколько ему заблагорассудится; он

облокотился о перила балкона и вцепился в усы длинными белыми пальцами обеих рук. Это придало ему необыкновенное сходство с грязновато-белой собакой, грызущей кость. А что, если они схватили его людей? Что тогда делать? Что, если они их схватили?

Внизу, в городе, часы на колоколенках с золочеными куполами прозвенели полчасика первого.

Разумеется, они с Пестовичем предвидели такую возможность. Даже если их посланцев схватят... Что ж, они ведь поклялись хранить тайну... Да они могут и не попасть к ним в руки живыми, их могут

убить... И наконец можно ведь все отрицать... Отрицать и отрицать...

И тут высоко-высоко в небесной синеве он заметил с десятков маленьких светящихся точек...

Появился Пестович.

— Все депеши бриссагского правительства, ваше величество, передаются в зашифрованном виде, — сообщил он. — Я приказал, чтобы...

— *Взгляните!* — прервал его король, указывая тонким длинным пальцем на небо.

Пестович поглядел, а затем на какой-то миг задержал вопросительный взгляд на бледном лице короля.

— Мы должны держаться так, словно ничего не произошло, ваше величество, — оказал он.

Несколько секунд они молча следили за крутыми спиралями снижающихся аэропланов, а затем начали торопливо совещаться.

Если сделать вид, что король совещается с кабинетом министров, вырабатывая план окончательной передачи всех полномочий правительству Бриссаго, это будет выглядеть вполне невинно и не вызовет ничьих подозрений, решили они, и поэтому, когда бывший король Эгберт — посланник новой власти — появился в зале, он увидел, что король, приняв несколько

театральную позу, держит речь перед своими советниками и двором. (Двери в комнату, где помещался беспроволочный телеграф, были закрыты.)

Бывший король, посланец Бриссаго, стремительно, словно струя свежего ветра, прошел среди развевающихся занавесей и почтительно расступившихся придворных, но некоторая жесткость взгляда противоречила привычной любезности его манер. За королем торопливо семенил Фермин — его единственный спутник. И когда Фердинанд-Карл встал, приветствуя гостя, по спине балканского владыки снова прошел холодок — как тогда,

на балконе... Но тревога тотчас развеялась: так беззаботно и непринужденно держался посланец. В конце концов даже ребенок сумеет обвести вокруг пальца этого пустомелю, который ради какой-то идеи и по приказу ничтожного утописта-французика в очках выбросил на свалку, словно ненужную ветошь, древнейшую в мире корону.

Надо отрицать, отрицать...

А затем мало-помалу — и это было еще более тягостно — король балканский начал сознавать, что и отрицать ему нечего. Гость дружески и спокойно говорил о всех сторонах спора между Балканами и Бриссаго,

говорил о чем угодно, кроме...

— Быть может, они просто где-то задержались? Быть может, им пришлось опуститься на землю из-за какой-нибудь поломки и они все еще на свободе? Быть может, именно сейчас, когда этот дурак что-то здесь лопочет, они там, над горами, сбрасывают свой смертоносный груз за борт аэроплана?

Неистовые надежды и мечты заставили Славянского Лиса вновь распушить поджатый было хвост.

О чем он все-таки говорит? Надо же отвечать ему, пока еще ничего не известно! В любую минуту небольшая окованная латунию дверь за его спиной может открыться, и

они услышат, что Бриссаго превращен в прах и развеян по ветру. Приятно будет разрядить напряжение, приказав без лишних слов арестовать этого болтуна. Пожалуй, его можно будет убить... Что такое?

Король Эгберт повторил:

— Как ни смешно, они предполагают, что ваша уверенность в себе объясняется припрятанным запасом атомных бомб.

Король Фердинанд-Карл постарался взять себя в руки и с возмущением отверг подобные выдумки.

— О, разумеется! — сказал бывший король. — Это разумеется

само собой.

— Какие есть для этого основания?

Бывший король позволил себе сделать какой-то неопределенный жест и довольно явственно хмыкнул. Какого дьявола он ухмыляется?

— В сущности, никаких, — сказал он. — Но, когда дело касается вещей такого рода, приходится быть сугубо осторожным.

И опять на краткий миг что-то, какая-то тень насмешки промелькнула в глазах посланца, и холодок снова пробежал по спине короля Фердинанда-Карла.

Пестович, наблюдавший хмурое, напряженное лицо Фермина,

почувствовал ту же мучительную тревогу. Он поспешил на помощь своему монарху, опасаясь, что тот будет протестовать чрезмерно горячо.

— Обыск! — кричал король. — Наложение ареста на наши аэропланы!

— Только на время, — пояснил бывший король Эгберт, — пока не закончится обыск.

Король воззвал к своим советникам.

— Народ никогда не допустит этого, ваше величество, — заявил суетливый человек в раззолоченном мундире.

— Вам придется принудить

его, — сказал бывший король, с любезной улыбкой обращаясь ко всем советникам.

Король Фердинанд метнул взгляд на закрытую латунную дверь, из-за которой все еще не поступало никаких вестей.

— Когда хотите вы приступить к обыску?

Бывший король лучезарно улыбнулся.

— Раньше чем послезавтра это едва ли будет возможно, — сказал он.

— Вы будете обыскивать только столицу?

— А что же еще? — совсем уже весело спросил бывший король.

— Лично мне, —

доверительным тоном продолжал он, — вся эта затея представляется крайне нелепой. Прятать атомные бомбы! Ну кто способен на такую глупость? Никто. Ведь это виселица, если его поймают, наверняка виселица, а если не поймают, то почти наверняка он сам взлетит на воздух. Но теперь мне, как и любому другому человеку в мире, приходится подчиняться приказу. И вот я здесь.

Эта простодушная болтовня приводила короля в ярость. Он поглядел на Пестовича; тот едва приметно кивнул. Но как бы то ни было, это хорошо, что приходится иметь дело с дураком. Они могли бы послать сюда и искушенного

дипломата.

— Да, конечно, — сказал король, — я не могу не признать превосходства в силе... Ну, и известной логики... В ЭТИХ распоряжениях, исходящих из Бриссаго.

— О, я знал, что вы будете разумны, — со вздохом облегчения сказал бывший король. — В таком случае нам следует уточнить...

И они уточнили — без излишних формальностей. До конца обыска ни один балканский аэроплан не имел права подняться в воздух; в то же время воздушный флот всемирного правительства будет кружить в небе, а во всех балканских городах должны

быть развешены объявления с предложением награды тем, кто укажет местонахождение атомных бомб...

— Вам надо это подписать, — сказал бывший король.

— Зачем?

— Чтобы подтвердить, что мы не совершаем никаких враждебных действий по отношению к вам.

Пестович утвердительно кивнул в ответ на взгляд своего монарха.

— Ну, а теперь, — все с той же милой непринужденностью продолжал бывший король, — мы вызовем сюда побольше наших людей, прибегнем к помощи вашей полиции и осмотрим ваш дворец и

прочее. Вот и все. А пока, если позволите, я буду вашим гостем.

Когда Пестович остался наконец снова наедине с королем, он увидел, что тот обуреваем самыми противоречивыми чувствами, которые играли им, как бушующие волны щепкой. То он был исполнен радужных надежд и презрения к «этому ослу» и его обыску, то погружался в пучину отчаяния.

— Они найдут их, Пестович, и тогда он нас повесит.

— Кто нас повесит?

Король приблизил свой длинный нос к самому лицу советника.

— Этот улыбающийся мерзавец жаждет нас повесить, — сказал

он. — И повесит, если только мы дадим ему хоть малейшую возможность.

— Чего же тогда стоит вся их Новая Цивилизация и Государственность?

— Вы думаете, что эта банда безбожников, вивисекторов-фанатиков и фарисеев способна на сострадание? — воскликнул последний коронованный жрец романтики. — Вы думаете, Пестович, они понимают, что такое высокие стремления и манящая мечта? Вы думаете, что наш смелый и величественный замысел может их увлечь? Вот здесь, перед вами, стою я — последний и самый великий

романтик из цезарей всех времен, и вы думаете, что они упустят случай повесить меня, как собаку, удушить меня, как крысу в норе? А этот ренегат! Этот, бывший некогда помазанником божьим...

— Не выношу таких глаз, которые смеются и не становятся мягче, — помолчав, добавил король.

— Я не стану сидеть здесь, как кролик перед удавом, — сказал он в заключение. — Мы должны куда-нибудь перенести эти бомбы.

— Рискните, — сказал Пестович, — не трогайте их.

— Нет, — сказал король. — Их надо спрятать поближе к границе. Тогда, пока за нами будут следить

здесь, — а за нами здесь всегда будут теперь следить, — мы можем купить аэроплан за границей и поднять их в воздух...

Весь вечер король был как в лихорадке и все его раздражало, но тем не менее он разработал весьма хитроумный план. Бомбы нужно было переправить в другое место; для этого требовалось два фургона с атомными двигателями, как для перевозки сена. Бомбы нужно завалить сеном... Пестович уходил и приходил, давал указания преданным слугам, обдумывая каждую мелочь, меняя уже принятые решения.

Тем временем король и бывший король дружески беседовали о самых

разнообразных предметах. Но мысль о пропавшем без вести аэроплане ни на мгновение не покидала короля Фердинанда-Карла. Был ли он захвачен или успешно выполнил приказ, по-прежнему оставалось загадкой. И в любую секунду вся сила и мощь, стоявшая за спиной посланца Бриссаго, могла рухнуть и исчезнуть.

А после полуночи король в плаще и шляпе с большими, свисающими на глаза полями, какие мог бы надеть и крестьянин и почтенный горожанин, незаметно выскользнул через ход для прислуги в восточном крыле дворца в густой парк, разбитый на склоне холма над

городом. Пестович и его камердинер-телохранитель Петр в такой же одежде вышли из-за кустов лавра, окаймлявших аллею, и присоединились к своему монарху. Была теплая, ясная ночь, но звезды казались непривычно далекими и тусклыми из-за аэропланов, которые, включив свои прожекторы, обшаривали небо их лучами. Один яркий луч, казалось, задержался на мгновение на короле, когда тот выходил из дворца, но тотчас скользнул дальше, и Фердинанд-Карл решил, что его не заметили. Однако не успел он со своими спутниками выйти за пределы дворцового сада, как луч другого прожектора снова

нашел их и задержался на них.

— Они видят нас! — вскричал король.

— Они нас не узнают, — сказал Пестович.

Король поглядел вверх: равнодушный, круглый, светящийся глаз смотрел прямо на него; он словно бы подмигнул ему и потух, ослепив его на несколько секунд...

Они пошли дальше. Возле садовой калитки, которая по распоряжению Пестовича была открыта, король остановился в тени дуба и оглянулся на свой дворец. Это было высокое узкое сооружение; двадцатый век отдавал здесь дань средневековью с помощью стали,

бронзы, искусственного камня и матового стекла. Дворец вздымал ввысь нагромождение шпилей и башен. В верхнем этаже восточного крыла находились апартаменты, отведенные бывшему королю Эгберту. Одно из окон было ярко освещено, и на фоне этого светлого пятна неподвижно стояла небольшая черная фигура, устремив взгляд в темноту.

Король скрипнул зубами.

— Он даже не подозревает, как мы проскользнули у него между пальцев, — сказал Пестович.

И в эту минуту бывший король медленно поднял руки, словно зевая, потер глаза и отошел от окна,

очевидно, чтобы лечь спать.

Король торопливо шагал по глухим, извилистым улочкам своей древней столицы к перекрестку, где их уже ждал старый, потрепанный автомобиль с атомным двигателем. Это был наемный экипаж самого низкого разбора, с помятым кузовом и продавленным сиденьем. За рулем сидел обыкновенный шофер, каких сколько угодно в столице, но рядом с шофером помещался молодой секретарь Пестовича, знавший дорогу на ферму, где были спрятаны бомбы.

Автомобиль петлял по лабиринту старого города, еще ярко освещенного и оживленного

(кружившие в небе аэропланы заставили людей высыпать на улицу, а хозяев кафе держать свои двери открытыми), а затем, проехав по длинному новому мосту и миновав предместье с редко разбросанными строениями, очутился среди полей. И все это время, пока автомобиль проезжал столицу, король, мечтавший затмить Цезаря, сидел совершенно неподвижно, откинувшись на спинку сиденья, и никто не произносил ни слова. А когда автомобиль выбрался из предместья на темное шоссе, они снова увидели, что над темными полями, словно гигантские призраки, беспокойно снуют лучи

прожекторов. При виде этих мечущихся белесых овалов король выпрямился, а потом закинул голову и стал глядеть на кружившие в небе аэропланы.

— Мне это не нравится, — сказал король.

Вскоре одно из этих голубоватолунных пятен легло на автомобиль и, казалось, заскользило вместе с ним. Король съежился на сиденье.

— Как они отвратительно бесшумны, — сказал король. — Такое ощущение, словно за тобой крадутся длинные белые кошки.

Он снова выглянул в окно.

— Вот этот явно следит за нами, — сказал он.

И тут внезапно его обуял панический страх.

— Пестович, — сказал он, вцепившись в руку своего министра, — они следят за нами. Придется отказаться от нашего плана. Они следят за нами. Я возвращаюсь.

Пестович начал его уговаривать.

— Велите шоферу поворачивать обратно, — сказал король и попытался отодвинуть панель переговорного окошка. Несколько секунд в автомобиле происходила отчаянная борьба: один хватал другого за руки, раздавался глухой удар. — Я не в состоянии этого выдержать, — твердил король. — Я

возвращаюсь.

— Но ведь они нас повесят, — сказал Пестович.

— Нет, если мы сейчас во всем признаемся. Нет, если мы отдадим им бомбы. Это вы вравили меня в эту...

Наконец Пестович предложил компромисс. Примерно в полумиле от фермы есть гостиница. Они заедут туда, король выпьет коньяку и даст отдохнуть своим нервам. А если и после этого он сочтет за лучшее вернуться обратно, ну так он вернется обратно.

— Взгляните, — сказал Пестович, — луч опять погас.

Король посмотрел на небо.

— По-моему, этот аэроплан следует за нами, погасив прожектор, — сказал он.

В маленькой старой и грязной гостинице король мешкал довольно долго, не зная, на что решиться, а потом сказал, что вернется назад и отдастся на милость Совета.

— Если этот Совет еще существует, — заметил Пестович. — Возможно, что ваши бомбы уже покончили с ним.

— Если бы так, эти проклятые аэропланы не летали бы у нас над головой...

— Они могут еще не знать.

— Но разве вам нельзя обойтись без меня, Пестович?

Пестович ответил не сразу.

— Я считал, что бомбы следует оставить на старом месте, — сказал он наконец и подошел к окну. На их автомобиль падал яркий сноп света. Пестовича осенила блестящая мысль.

— Я пошлю моего секретаря, чтобы он для виду затеял какой-нибудь спор с шофером, — сказал Пестович. — Это прикует внимание к ним, а мы тем временем — вы, я и Петр — выйдем через задний ход и, держась в тени живой изгороди, проберемся на ферму...

Этот план, вполне достойный репутации Пестовича, как будто вполне удался.

Десять минут спустя, мокрые,

грязные, запыхавшиеся, но не замеченные никем, они уже перелезали через ограду фермы. Но когда они уже бежали к сараям, из груди короля вырвался не то стон, не то проклятие — все вокруг них осветилось на мгновение... и свет скользнул дальше.

Но действительно ли он не задержался или все же помедлил какую-то секунду?

— Они не заметили нас, — сказал Петр.

— Да, наверное, так, — сказал король и прирос к месту, уставившись на сноп света, который скользнул по склону горы, задержался на мгновение на стоге

сена и, разгораясь все ярче, пополз обратно.

— В сарай! — крикнул король.

Он больно ударился обо что-то ногой, но через минуту все трое уже находились внутри огромного сарая на стальном каркасе, в котором стояли два моторных фургона с сеном, предназначавшиеся для перевозки бомб. Курт и Авель — братья Петра — поставили их здесь еще днем. Половина сена была сброшена на пол сарая; оно предназначалось для того, чтобы прикрыть бомбы, как только король укажет, где они спрятаны.

— Здесь есть подвал, — сказал король. — Не надо, не зажигайте

фонаря. Вот ключ, откроется кольцо...

Некоторое время никто не произносил ни слова. В темноте слышался стук сдвинутой с места каменной плиты и шарканье подошв по ступенькам, ведущим в подвал, а затем шепот и тяжелое дыхание — это Курт взбирался по лестнице с первой бомбой в руках.

— Мы еще им покажем, — сказал король и тут же ахнул. — Черт бы побрал эти прожекторы! И какого дьявола вы оставили дверь открытой?

Широкие двери сарая были распахнуты настежь, и весь пустынный двор фермы был залит

голубым пытливым светом
прожекторов, а на полу сарая лежала
широкая полоса света.

— Закрой дверь, Петр, — сказал
Пестович.

— Нет! — крикнул король, но
было поздно, так как Петр уже
вступил в полосу света. — Не
показывайтесь! — снова крикнул
король.

Курт шагнул вперед и оттащил
брата обратно. На несколько секунд
все пятеро застыли в неподвижности.
Казалось, свет будет гореть вечно, но
внезапно он погас, и они на минуту
ослепли.

— Вот теперь, — с тревогой
сказал король, — теперь закройте

дверь.

— Только не плотно! — крикнул Пестович. — Оставьте щель, чтобы мы могли выбраться...

Поднять наверх и погрузить бомбы было делом нелегким, и король некоторое время трудился, как простой смертный. Курт и Авель выносили из подвала тяжелые бомбы, Петр поднимал их в фургон, а король и Пестович помогали прятать их в сене. Все старались производить как можно меньше шума...

— Ш-ш-ш! — прошептал король. — Что это?

Но Курт и Авель не расслышали его предупреждения и, спотыкаясь, продолжали подниматься по

лестнице с последней ношей.

— Ш-ш-ш! — Петр бросился к ним и шепотом приказал им остановиться. В сарае наступила полная тишина.

Дверь сарая приотворилась немного шире, и на тускло-голубом фоне выросла черная фигура человека.

— Есть тут кто-нибудь? — с легким итальянским акцентом спросил человек.

Короля прошиб холодный пот. Ответил Пестович:

— Только бедный крестьянин — нагружает сеном свою машину, — сказал он, схватил тяжелые вилы и неслышно шагнул вперед.

— Вы грузите свое сено в плохое время и при очень скверном освещении, — сказал человек, заглядывая внутрь. — Разве у вас здесь нет электричества?

Внезапно вспыхнул свет электрического фонарика, и в тот же миг Пестович прыгнул вперед.

— Убирайся вон из моего сарая! — крикнул он и вонзил вилы в грудь незваного гостя. Вероятно, он надеялся мгновенно заставить его замолчать. Но человек громко вскрикнул, когда вилы, вонзившись ему в грудь, отбросили его назад, и тотчас стало слышно, как кто-то бежит через двор.

— Бомбы! — крикнул раненый,

стараясь выдернуть впившиеся в грудь зубья, и в ту же секунду Пестович, по инерции шагнувший вперед после удара, попал в полосу света и был застрелен кем-то из двух подбегавших людей.

Человек, лежавший на земле, был тяжело ранен, но не утратил присутствия духа.

— Бомбы! — повторил он и, с трудом поднявшись на колени, направил свет своего электрического фонарика прямо на короля.

— Застрелите их! — крикнул он, кашляя и выплевывая сгустки крови, от чего ореол света вокруг головы короля заплясал.

И в этом пляшущем пятне двое

его товарищей увидели короля, стоявшего на коленях в фургоне, и Петра возле стены. Старый Лис поглядел на них исподлобья — они увидели бесцветно-белое лицо злой нечисти, попавшей в капкан. И когда, преодолевая страх, в порыве самоубийственного героизма он наклонился вперед к бомбе, они выстрелили одновременно и разнесли ему череп.

От его лица осталась только нижняя половина.

— Пристрелите их! — продолжал кричать раненый. — Пристрелите их всех!

Но тут фонарик в его руке погас, и он со стоном покатился под ноги

своих товарищей.

Но у тех тоже были с собой фонари, и сарай осветился снова. Петра застрелили, хотя он уже поднял руки в знак того, что сдается.

Курт и Авель, стоявшие на верхней ступеньке лестницы, секунду были в нерешительности, а затем ринулись обратно в подвал.

— Если мы не убьем их, — сказал один из стрелков, — они разнесут нас своими бомбами в клочья. Они спустились туда, вниз. Идем!..

— Вот они! Руки вверх! Слышите? Посвети, я буду стрелять...

Было еще совсем темно, когда Фермин и камердинер явились к бывшему королю Эгберту и доложили, что все кончилось благополучно.

Эгберт приподнялся и сел, спустив ноги с кровати.

— Он покинул дворец? — осведомился бывший король.

— Он мертв, — сказал Фермин. — Его застрелили.

Бывший король задумался.

— Пожалуй, это наилучший исход, — сказал он. — А где бомбы? На ферме, у подножия холма? Да ведь это же совсем рядом! Идемте

туда. Я сейчас оденусь. Есть здесь кто-нибудь, Фермин, чтобы сварить нам по чашечке кофе?

В скупых предрассветных сумерках автомобиль бывшего короля доставил его на ферму, где последний непокорный король лежал среди своих бомб. Край неба запылал, восток осветился и солнце поднялось над горой, когда автомобиль короля Эгберта въехал во двор фермы. Там он увидел фургоны с сеном, которые уже выкатили из сарая вместе с их смертоносным грузом. Человек сорок авиаторов охраняли двор, а в стороне стояла кучка крестьян, глаза на происходящее, но еще не понимая его

значения. Пять трупов были аккуратно уложены в ряд возле каменной ограды двора. На лице Пестовича застыло удивленное выражение, а короля можно было опознать только по его длинным белым пальцам и золотистым усам. Раненого аэронавта перенесли в гостиницу. Бывший король отдал распоряжение отправить бомбы со всеми предосторожностями в новые специальные лаборатории под Цюрихом, где их должны были обезвредить в парах хлора, и повернулся к пяти неподвижным фигурам.

Пять пар ступней торчали в странном окаменелом согласии...

— А что еще можно было сделать? — сказал король, словно отвечая на какой-то внутренний протест.

— Хотелось бы мне знать, Фермин, много ли их еще осталось!

— Бомб, ваше величество? — спросил Фермин.

— Нет, таких королей...

— Какое достойное сожаления безумие! — сказал бывший король, продолжая думать вслух. — Фермин, я полагаю, что похоронить их следует вам, как бывшему профессору Международной Политики. Здесь?.. Нет, не хороните, их возле колодца. Люди будут пить эту воду. Похороните их где-нибудь там, в

поле.

Часть четвертая

«Новая эра»

Теперь, когда все уже осуществлено, задача, стоявшая перед Советом в Бриссаго, представляется нам, в общем, довольно простой. В основном она сводилась к тому, чтобы приспособить социальный порядок к стремительному и все убыстряющемуся развитию человеческих знаний. Совет был собран с поспешностью спасательной экспедиции, но спасти ему предстояло обломки, которые уже нельзя было спасти. Выбор был только один: либо возврат человечества к варварству

примитивного земледелия, от которого оно с такими муками едва успело избавиться, либо создание нового социального порядка на основе современной науки. Прежние качества человеческой натуры: подозрительность, своекорыстие, зависть, воинственность — были несовместимы с гигантской разрушительной силой новых изобретений, которые открывала людям лишенная людских слабостей логика чистой науки. Равновесие могло быть достигнуто либо путем низведения цивилизации до уровня, на котором современные механизмы не могли бы создаваться, либо путем приспособления человеческой

натуры и всех социальных институтов к новым условиям. И Совет был создан для осуществления второй возможности.

Рано или поздно человечество неизбежно должно было оказаться перед необходимостью такого выбора. Неожиданное развитие атомной науки лишь ускорило и сделало более внезапным и драматичным это столкновение нового с привычным, которое подготавливалось еще с той минуты, Когда был обтесан первый кремневый топор или высечена первая искра огня. С того дня, когда человек создал свое первое орудие и позволил другому самцу

приблизиться к себе, он перестал быть существом, руководимым чистым инстинктом и не знающим колебаний. И с этого дня все шире разверзалась пропасть между его эгоистическими страстями и социальной необходимостью. Мало-помалу он приспособился к оседлой жизни и его себялюбие расширилось до общественных потребностей клана и племени. Но как бы ни расширялся круг его стремлений и интересов, дремавший в нем инстинкт охотника, кочевника и открывателя чудес опережал их, питая его фантазию. Никогда человек не был до конца покорен клочком своей земли или прикован к своему

очагу. Всегда и повсюду, чтобы удержать его в узах жизни пахаря и скотовода, требовались воспитание и священник. Мало-помалу огромная сложная система традиций и императивов подавила его инстинкты — императивов, удивительно подходивших для того, чтобы превратить его в землепашца и скотовода, который на протяжении двадцати тысяч лет считался нормальным типом человека.

А его труд без всякого намерения или желания с его стороны создал цивилизацию. Цивилизацию породил избыток плодов сельского хозяйства. Она возникла в виде торговли и дорог,

она пустила по рекам лодки и вскоре
вторглась в моря, а в дворцах ее
первых владык, в ее храмах, богатых
и располагавших досугом, в пестрой
суете ее портовых городов рождалась
мысль, рождались философия и
наука и закладывались основы
нового порядка, который в конце
концов утвердился как единственно
возможная форма человеческого
существования. Сперва медленно —
как мы рассказали вначале, — а
потом все быстрее и быстрее
человечество овладевало все новыми
родами энергии. Человек, в общем,
не искал их и не стремился к ним:
они были ему навязаны, и в течение
какого-то времени люди беспечно

пользовались этими новыми силами и новыми открытиями и изобретениями, совершенно не задумываясь над последствиями. Ведь на протяжении бесчисленных поколений эти перемены происходили настолько постепенно, что человек их почти не ощущал. Но когда они завели его достаточно далеко, их темп внезапно убыстрился. И человек, испытывая потрясение за потрясением, обнаружил наконец, что его жизнь все меньше и меньше сохраняет старые формы и все больше и больше приобретает новые.

Еще накануне высвобождения атомной энергии противоречия

между старым укладом жизни и новым достигли крайнего напряжения. Эти противоречия были даже острее, чем накануне падения Римской империи. С одной стороны, существовал старинный жизненный уклад, опиравшийся на семью, небольшую общину, распыленную промышленность; с другой — новая жизнь, измерявшаяся иными масштабами, с широкими горизонтами и по-новому осознанными задачами. Уже становилось очевидным, что людям придется сделать выбор. Розничные торговцы и синдикаты не могли существовать бок о бок на одном и том же рынке, сонные возчики и

моторные фугоны не могли двигаться по одной дороге, лучники и стрелки-аэронавты — служить в одной и той же армии, или примитивные крестьянские ремесла и мощные заводы — ужиться на одной и той же планете. И тем более несовместимы были крестьянские идеалы, устремления, жадность и зависть с безграничными возможностями, которые открывала людям новая эра. Если бы взрывы атомных бомб не заставили лучшие умы мира поспешно встретиться на совещании в Бриссаго, все равно так или иначе, рано или поздно, но совещание — пусть и не столь официальное — наиболее мыслящих

и чувствующих свою ответственность людей должно было состояться для разрешения этой мировой дилеммы. Если бы работа Холстена затянулась на века и результаты его открытий мир получал бы постепенно, самыми ничтожными долями, все равно человечество было бы вынуждено собраться и обсудить эти открытия, чтобы выработать план действий на будущее. И в самом деле, еще за столет до кризиса существовала и накапливалась литература, предвидевшая эти проблемы, и совещание могло опереться в своей работе на огромное количество проектов создания «Современного Государства». Атомные взрывы лишь

углубили уже назревшую проблему и придали ей драматизм.

Создание этого Совета не знаменовало собой приход к власти сверходаренных людей. Его члены не были глухи к чужому мнению и выносили свои идеи на обсуждение — идеи, рожденные в результате «морального шока», пережитого человечеством под воздействием атомных взрывов; но нет оснований полагать, что носители этих идей особенно высоко поднимались над средним уровнем. Можно было бы привести примеры тысячи ошибок и оплошностей, допущенных Советом вследствие рассеянности, раздражительности или усталости

его членов. Многое делалось на
ощупь и часто неудачно. Весьма
сомнительно, чтобы среди членов
Совета нашелся хоть один человек,
которого можно было бы назвать по-
настоящему великим; исключение
составлял Холстен, но и его
одаренность ограничивалась одной
узкоспециальной областью. Однако
Совету в целом было присуще
чувство взятой на себя
ответственности, действия его
отличались последовательностью и
прямотой. Что касается Леблана, то
ему, несомненно, была свойственна
благородная простота, но и тут
позволительно усомниться, был ли
он по-настоящему великим

человеком или попросту добрым и честным.

Бывший король Эгберт был по-своему мудр, не лишен романтической жилки и оказался бы замечен среди тысяч, хотя и не среди миллионов. Однако его мемуары и даже решение писать эти мемуары как нельзя лучше характеризуют и его самого и его соратников. Читать эту книгу очень интересно, но она вызывает и большое недоумение. Огромную работу, проделанную Советом, он принимает как нечто само собою разумеющееся, как ребенок — бога. Кажется, что он совершенно не отдает себе отчета в том, насколько велико ее значение.

Он рассказывает забавные анекдоты о своем секретаре Фермине или кузене Вильгельме, высмеивает американского президента, который, в сущности, являлся не столько представителем американского народа, сколько случайным изделием американской политической машины, и пространно описывает, как он, потеряв дорогу, три дня блуждал в горах в обществе единственного японского члена Совета. Урон, нанесенный их отсутствием, был, по-видимому, не слишком велик и не вызвал перерыва в заседании...

Совещание в Бриссаго порой пытались изобразить как собрание

всего цвета человечества. Вознесенное причудой или мудростью Леблана на вершину гор, оно приобрело черты некой олимпийской надмирности, а извечная склонность человеческого ума преувеличивать такого рода сходства превратила членов этого совещания в некое подобие богов. Однако его скорее следовало бы сравнить с вынужденными сборищами в горах, какие, несомненно, происходили в первые дни всемирного потопа. Сила Совета крылась не в нем самом, а в обстоятельствах, которые обостряли работу ума, очищали души от мелкого тщеславия, освобождали от извечных

оков честолюбия и антагонизма. Это было правительство, с которого соскоблили все вековые наслоения, и оно получило такую свободу действий, какую могут дать только подобное очищение и нагота. И свои проблемы оно ставило перед собой ясней и проще, без тех запутанных и сложных процедур, которые создавали столько затруднений в прежние времена.

Мир в том виде, в каком он представлял тогда взорам Совета, ставил перед ними поистине слишком грандиозную и слишком неотложную задачу, чтобы можно было тратить время и силы на внутренние разногласия. Пожалуй, имеет смысл обрисовать в нескольких фразах положение человечества к концу периода воюющих государств, к критическому году, последовавшему за высвобождением атомной энергии. Этот мир, располагавший, по нашим теперешним представлениям, весьма скудными

возможностями, впал теперь в состояние чудовищного хаоса и бедствий.

Следует помнить, что в то время людям еще только предстояло распространиться на огромные пространства земного шара — песчаные, горные, необитаемые, дикие чащи, лесные пустыни и покрытые льдом полярные области еще ждали их. Люди по-прежнему могли жить только у воды, на пригодных для земледелия почвах, в умеренном или субтропическом климате; они густо селились лишь в речных долинах, и все их большие города возникали либо на судоходных реках, либо возле морских портов. На

огромных пространствах даже этой пригодной для возделывания земли мухи и москиты, разносчики смертоносных болезней, успешно противостояли вторжению человека, и под их охраной девственные леса стояли нетронутыми. Да, в сущности, над всей землей, даже в самых густонаселенных районах, кишели такие рои мух и вредных насекомых, что сейчас это представляется нам почти невероятным. Карта населения земного шара 1950 года была бы так густо заштрихована по берегам морей и рек, что могло бы создаться впечатление, будто homo sapiens^[1] был существом земноводным. Свои шоссейные и железные дороги

человек тоже прокладывал в низинах, лишь кое-где пробиваясь сквозь преграды гор или взбираясь на высоту не более трех тысяч футов, чтобы достичь какого-нибудь курорта. И даже через океан он следовал по строго определенному пути, так что в океане были сотни тысяч квадратных миль, куда корабли заплывали только случайно, когда их заносило туда бурей.

В таинственные земные недра под его ногами он заглянул всего на какие-нибудь пять миль, и сорока лет еще не прошло с тех пор, как он ценой трагического упорства достиг наконец полюсов земного шара. Неисчерпаемые минеральные

богатства Арктики и Антарктики были все еще погребены под напластованиями вечных льдов, и неизведанные сокровища внутренних слоев земной коры оставались нетронутыми; даже о самом их существовании он пока не подозревал. Высокогорные области были известны только кучке проводников и альпинистов да посетителям нескольких жалких отелей, а огромные безводные пространства, пересекавшие массивы континентов от Гоби до Сахары и протянувшиеся вдоль американского горного кряжа, с их чистым воздухом, ежедневным обилием ослепительного солнечного

света и тепла, торжественной тишиной и прохладой звездных ночей и скрытыми глубоко под землей водоемами, представлялись воображению человека областями ужаса и смерти.

Но теперь взрыв атомных бомб безжалостно разбросал огромные массы населения, жившие до этого момента скученно в колоссальных грязных городах той эпохи, но сельским областям. Словно какая-то грубая сила, возмущенная человеческой слепотой, сознательно сотрясла планету, чтобы переместить людей в более здоровые и пригодные для жизни районы. Большие города и огромные индустриальные районы,

избежавшие атомных
бомбардировок, находились
вследствие краха экономики почти в
таком же бедственном и трагическом
положении, как те, что пылали от
взрывов, и сельские местности были
наводнены бездомными,
отчаявшимися людьми. В некоторых
частях земного шара свирепствовал
голод, кое-где появилась чума...

На равнинах северной Индии,
где благосостояние народа из года в
год все более попадало в зависимость
от железных дорог и системы
ирригационных каналов, которые
наиболее фанатичные отряды
повстанцев привели в негодность,
бедствия достигли неслыханных

размеров: население вымирало целыми деревнями, и никому не было до этого дела, и даже тигры и пантеры, охотившиеся за немногими еще уцелевшими, изнуренными голодом и болезнями людьми, уползали назад в джунгли зараженными и там погибали. В Китае бесчинствовали разбойничьи шайки.

Стоит отметить, что от той эпохи до нас не дошло ни одного полного описания атомного взрыва. Но сохранились бесчисленные упоминания, заметки и частичные описания, и с их помощью следующим поколениям удалось воссоздать картину гибели и

опустошения.

Необходимо помнить, что эта картина беспрерывно, изо дня в день и даже из часа в час изменялась, по мере того как взорвавшаяся бомба перемещалась, выбрасывала осколки, проникала в свежий слой почвы или соприкасалась с водой. Барнет, оказавшийся в начале октября в сорока милях от Парижа, описывает главным образом смятение, царившее в сельских местностях, и трудность стоявшей перед ним задачи, но все же и он упоминает об огромных облаках пара, «закрывававших все небо на юго-западе», и багровом зареве, видневшемся под ними ночью.

Некоторые районы Парижа еще продолжали пылать, и даже на этом расстоянии от него в импровизированных жилищах устроилось немало людей, стороживших груды вещей, которые им удалось наgrabить в горящем городе. Барнет упоминает также про отдаленный грохот взрывов, «похожий на шум поездов, проносящихся по железному мосту».

Другие описания сходны с этим: всюду встречаются «непрерывные раскаты», либо «глухие удары и грохот», либо что-нибудь в том же роде, и все единодушно говорят о густой пелене пара, внезапно превращающейся в проливной дождь,

пронизанный зигзагами молний. Чем ближе к Парижу, тем больше становилось таких стоянок, теснящих деревни, и множество людей, часто больных и чесоточных, ютилось под самодельными навесами, потому что им некуда было идти. Пелена пара по мере приближения к городу становилась все более густой и непроницаемой, так что наконец дневной свет исчез совсем и осталось лишь тусклое багровое зарево, «необычайно гнетуще действовавшее на душу». Но и в этой зловещей полутьме еще жило немало людей, цеплявшихся за свои жилища. Чаще всего они голодали, питаясь овощами со своих

огородов или раздобывая что-нибудь из запасов бакалейных лавок.

Еще ближе к городу — и исследователь увидел бы перед собой полицейский кордон, преграждающий путь тем, кто, отчаявшись, стремился возвратиться домой или хотя бы спасти наиболее ценное имущество, оставшееся в «зоне непосредственной опасности».

Границы этой зоны были установлены довольно произвольно. Если бы наш исследователь мог получить туда доступ, он попал бы в зону грохота, в зону непрекращающихся раскатов грома, странного, лиловато-красного сияния, где все сотрясается и

содрогается от непрерывных взрывов радиоактивного вещества. Целые кварталы пылали, но дрожащие языки пламени казались тощими, бледными призраками огня на фоне могучего малинового зарева. Оно глядело и из пустых глазниц окон, торчащих среди руин и пожарищ.

Каждый шаг здесь был так же опасен, как спуск в кратер действующего вулкана. Кипящий, смерчеподобный центр действия атомного взрыва мог внезапно переместиться в любом направлении; огромные глыбы земли, куски канализационных труб или каменной мостовой, поднятые на воздух струей взрыва, могли

обрушиться на голову исследователя, а разверзшаяся под его ступнями бездна — поглотить его в своей огненной пучине. Едва ли кто-нибудь, раз отважившись проникнуть в эту долину смерти и оставшись в живых, решался повторить свою попытку. Существуют рассказы о светящихся радиоактивных парах, разлетавшихся на десятки миль от места взрыва бомбы и убивавших и сжигавших все, что попадалось им на пути.

А пожары, распространившиеся из Парижа в западном направлении, достигли почти самого моря.

К тому же воздух в этом внутреннем кругу преисподней среди

залитых багровым светом руин был настолько сух и так опалял кожу легкие, что вызывал трудноизлечимые язвы...

Таков был конец Парижа, и такое же бедствие, только в еще большем масштабе, постигло Чикаго, и такова же была участь Берлина, Москвы, Токио, восточной половины Лондона, Тулона, Киля и еще двухсот восемнадцати населенных центров и стратегически важных пунктов. Каждый из них превратился в пылающий очаг радиоактивного распада, погасить который могло только время, и для некоторых из них это время не настало еще и поныне. По сей день взрывы эти еще

продолжают кое-где грохотать, хотя и со все убывающей силой и свирепостью. На карте почти каждой страны три-четыре, а то и больше красных кольца отмечают местонахождение затухающих атомных бомб и мертвые районы в несколько десятков миль диаметром вокруг них, откуда человек был вынужден уйти. Там пылали музеи, соборы, дворцы, библиотеки, галереи шедевров мирового искусства и все, что накопил человек, создавая и совершенствуя; теперь это погребено под дымящимися обломками и станет наследием грядущих поколений, которым, быть может, удастся когда-нибудь исследовать эти

любопытные останки...

Обездоленные городские жители, которые в черные дни осени, когда завершилась Последняя война, наводнили сельские области, находились в состоянии тупого отчаяния и гибли массами. Барнет описывает множество встреч с этими несчастными, ютившимися в примитивных шалашах среди виноградников Шампани, куда он попал в тот период, когда служил в армии восстановления мира и порядка.

Вот, например, рассказ о дамском портном, который вышел на дорогу возле Эпернэ и осведомился,

как обстоят дела в Париже. Это был, говорит Барнет, круглолицый человек в опрятном черном костюме (настолько опрятном, что Барнет был поражен, увидев его жилище — шатер, сооруженный из ковров); у него были «любезные, но несколько назойливые манеры», тщательно подстриженные усы и бородка, аккуратно приглаженные волосы и выразительные брови.

— Никто не бывает в Париже, — сказал Барнет.

— Но, мосье, это — большое упущение, — заметил стоявший у обочины человек.

— Опасность слишком велика. Радиация разрушает кожу.

Брови запротестовали.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего.

— Но, мосье, это же чрезвычайно неудобно — так жить в изгнании и ждать. Моя жена и мой маленький сын испытывают невероятные страдания. Полное отсутствие удобств. К тому же приближается зима. Я уж не говорю о расходах и о том, как трудно доставать провизию... Как вы полагаете, мосье, когда будет наконец предпринято что-либо, чтобы сделать Париж... доступным?

Барнет внимательно поглядел на своего собеседника.

— Я слышал, — сказал он, — что должно смениться несколько поколений, прежде чем Париж снова станет доступным.

— О! Но это же чудовищно! Подумайте, мосье! Что пока будут делать люди вроде меня? Я костюмер. Все мои клиенты, все мои интересы да прежде всего самый мой стиль — все это немыслимо без Парижа...

Барнет посмотрел на небо, откуда начинал накрапывать дождь, на пустынные поля, с которых уже был убран урожай, на подстриженные тополя у дороги.

— Понятно, что вы хотите возвратиться в Париж, — сказал

он, — но Парижа больше не существует.

— Не существует?

— Нет.

— Но в таком случае, мосье, что же... что же будет со мной?!

Барнет поглядел на запад, куда уходила белая лента дороги.

— Где еще мог бы я рассчитывать... найти хорошую клиентуру?

Барнет не ответил.

— Быть может, на Ривьере? Или, скажем, в таком курортном городке, как Хомбург? Или где-нибудь на море?

— Все это, — сказал Барнет, впервые позволяя себе осознать до

конца то, что подсознательно было для него ясно уже давно, — все это тоже, вероятно, больше не существует.

Наступило молчание. Затем голос рядом с ним произнес:

— Но, мосье, это же немыслимо! Тогда же не остается... ничего!

— Да, не очень много.

— Человек не может вдруг взять и начать сажать картофель!

— Было бы неплохо, если бы мосье мог принудить себя...

— Вести жизнь крестьянина? А моя жена?.. Вы не знаете, какое это утонченное, изнеженное создание! Она так трогательно беспомощна! В

ее беззащитности есть особое тонкое очарование. Она похожа на гибкую, лиану с большими белыми цветами... Впрочем, все это вздор. Не может быть, чтобы Париж, выстоявший против стольких бедствий, не возродился к жизни снова.

— Не думаю, чтобы он когда-нибудь возродился. Парижу пришел конец. И Лондону тоже, и как я слышал, и Берлину. Удар был нанесен по всем важнейшим столицам мира...

— Но... Позвольте мне в этом усомниться, мосье.

— Это так.

— Это невозможно.

Цивилизации не гибнут подобным образом. Человечество будет требовать...

— Парижа?

— Да, Парижа.

— Вы можете с таким же успехом броситься в Мальмстрем, мосье, и пытаться возобновить вашу деятельность там.

— Я предпочитаю оставаться при своем убеждении, мосье.

— Приближается зима. Не разумнее ли было бы, мосье, подыскать себе жилье?

— Еще дальше от Парижа? Нет, мосье. Но то, что вы сказали, мосье, невероятно, этого не может быть, вы в каком-то чудовищном

заблуждении... Право же, вы
заблуждаетесь... Я просто хотел
получить от вас некоторые
сведения...

«Когда я в последний раз
оглянулся на него, — пишет
Барнет, — он стоял возле
придорожного столба на вершине
холма и задумчиво, пожалуй, даже с
некоторым сомнением, смотрел в
сторону Парижа, не замечая
моросящего дождя, который уже
промочил его насквозь».

По мере того как Барнет переходит к описанию приближающейся зимы, записи его все больше и больше пронизывает холодок уныния и не до конца еще осознанное ощущение неотвратимо надвигающейся гибели. Вся эта огромная масса невольных и не приспособленных к новому образу жизни кочевников не в состоянии была осознать, что кончилась целая эпоха, что помощи и руководства в прежнем виде ждать больше неоткуда, что время не пойдет вспять, как бы терпеливо ни стали они этого дожидаться. И когда

первые снежные хлопья
безжалостного января закружились в
воздухе, многие все еще смотрели с
надеждой в сторону Парижа. И
повествование Барнета делается все
мрачнее...

После возвращения Барнета в
Англию тон его записок стал, быть
может, менее трагичен, но,
безусловно, более суров. Англия
предстала перед ним страной
испуганных и озлобленных
домовладельцев, прячущих
продовольствие, искоряющих
кражи и грабежи, выгоняющих
каждого погибающего от голода
скитальца из каждой придорожной
канавы, опасаясь, что он

бесцеремонно и бессовестно умрет на пороге у того, кто не сумеет прогнать его дальше.

Последние остатки английских войск покинули Францию в марте после того, как находившееся в Орлеане временное правительство категорически отказалось снабжать их продовольствием. По-видимому, это были дисциплинированные, но, в сущности, бесполезные вооруженные отряды, хотя Барнет и считает, что они во многом содействовали прекращению грабежей и разбоя и поддержанию порядка. Он вернулся на родину, в голодающую страну, — судя по его запискам, Англия в ту весну представляла собой картину

унылого терпения, что не мешало ей прибегать к самым отчаянным средствам в поисках спасения. Она переживала еще большие страдания, чем Франция, так как прекратился подвоз продовольствия, без которого она не могла обходиться. Солдаты Барнета получили в Дувре хлеб, сушеную рыбу и вареную крапиву, затем походным порядком были отправлены в Ашфорд и там распущены. По дороге они видели на телеграфных столбах четырех повешенных: их казнили за кражу брюквы. Работные дома в Кенте кормили, как узнал Барнет, толпы скитальцев хлебом с примесью глины и опилок. А в Суррее не

хватало даже такой пищи. Барнет пешком направился в Винчестер, обходя подальше отравленный атомными взрывами район Лондона, и в Винчестере ему повезло: он получил место помощника телеграфиста на центральной телеграфной станции и постоянный паек. Станция стояла на вершине мелового холма, на восточной окраине города.

Здесь он помогал принимать бесчисленные шифрованные депеши, предшествовавшие совещанию в Бриссаго, и здесь через его руки прошла Декларация, объявлявшая об окончании войны и создании объединенного правительства мира.

Ему нездоровилось в тот день, он чувствовал себя разбитым, и смысл того, что он расшифровывает, не проник до конца в его сознание. Он занимался этим машинально, как давно надоевшей обязанностью.

Декларация вызвала бурю ответных депеш, совсем его замучивших. Вечером, когда его сменили, он съел свой скудный ужин и вышел на балкон, чтобы покурить и проветрить голову после непривычно напряженных часов работы, смысл которой оставался ему непонятным. Был тихий, ясный вечер. Он разговорился с одним из своих товарищей-телеграфистов, и только тут, как он пишет: «Я вдруг осознал,

отклики каких грандиозных событий проходили через мои руки в течение последних четырех часов. Но восторг первых минут сменился сомнением.

— Это какое-то шарлатанство, — глубокомысленно заметил я.

Но мой сослуживец был настроен более оптимистично.

— Это значит — конец бомбардировкам и разрушениям, — сказал он. — Это значит, что мы скоро получим из Америки зерно.

— Кто же станет посылать нам зерно, когда деньги больше ничего не стоят? — спросил я.

И тут внезапно снизу, из города, к нам донесся звон. Соборные

колокола, ни разу за все время моего пребывания в этом городе не издавшие ни звука, зазвонили — вначале несколько неуверенно, хрипло, словно простуженные. Мало-помалу они оживали все больше, и мы поняли, что происходит. Это был благовест. Мы прислушивались к нему в недоверчивом изумлении, глядя на изможденные желтые лица друг друга.

— Значит, это правда, — сказал мой товарищ.

— Но что же можно теперь сделать? — спросил я. — Все разрушено...»

И на этой фразе, с неожиданным

художественным чутьем, Барнет
обрывает свое повествование.

Приступив к делам, новое правительство с первых же шагов проявило известное величие духа. Да, в сущности, иначе и быть не могло: его действия требовали величия духа. С самого начала новые правители должны были иметь перед глазами весь земной шар и рассматривать его как единое целое, как единую проблему: уже нельзя было более заниматься им по частям. Необходимо было сохранить его весь в целом от всякой новой попытки атомного разрушения и обеспечить всеобщий и постоянный мир на всей земле. От этой способности видеть

мир как нечто единое зависело самое существование нового правительства. Другого выхода не было.

Едва все существующие на земле запасы атомных бомб и аппаратура для синтеза каролина были захвачены, пришлось заняться роспуском или использованием на общественных работах всех еще находившихся под ружьем войск; а затем надо было спасти урожай, накормить миллионы бездомных скитальцев и найти для них кров и работу. В Канаде, в Южной Америке и в азиатской части России хранились колоссальные запасы продовольствия, которые оказались под спудом только из-за краха

денежной и кредитной систем. Это продовольствие необходимо было как можно быстрее доставить туда, где свирепствовал голод, чтобы спасти население этих областей от полного вымирания. В результате восстановление путей сообщения и перевозка этих запасов дали занятие большинству бывших солдат и наиболее трудоспособных безработных. Борьба с бездомностью приобретала грандиозные размеры: начав с устройства временных лагерей, жилищный комитет Совета быстро перешел к постройкам более постоянного характера. В своей попытке организовать эти толпы бродяг новое правительство

встретило гораздо меньше трудностей, чем можно было ожидать. Этот страшный год страданий и смертей сделал людей необычайно покорными: они разуверились в былых традициях, освободились от своих укоренившихся предрассудков; они чувствовали себя пришельцами в странном чуждом мире и готовы были последовать за всяким, кто уверенно поведет их за собой. Распоряжения нового правительства поступали к ним вместе с лучшими из всех верительных грамот — с продовольствием. Один старый ученый, исследователь рабочего движения, доживший до новой эпохи,

утверждает, что люди в те дни так же легко подчинялись приказам, «как толпа рабочих-иммигрантов в чужой стране».

А тем временем стали очевидны огромные возможности использования атомной энергии на благо общества. Новые механизмы, получившие применение еще до войны, улучшались и множились, и Совет получил в свое распоряжение не только миллионы рабочих рук, но также машины и энергию, благодаря которым первоначальные его планы представлялись теперь смехотворно ничтожными. Селения, которые предполагалось строить из дерева и железа, строились из камня и

бронзы; дороги, которые представлялись лишь узкими полосками рельсов, на деле превращались в широкие пути, требовавшие смелых архитектурных решений; сельское хозяйство, от которого ждали лишь удовлетворения самых насущных нужд, теперь благодаря новым удобрениям, химическим средствам, ультрафиолетовым лучам и научному руководству скоро создало уже достаточное изобилие во всем.

Новое правительство предполагало начать с частичного и временного восстановления той старой социальной и экономической системы, которая являлась

преобладающей до появления первых атомных двигателей, ибо большинство ставшего неимущим населения земного шара давно приспособило свои взгляды и привычки к этой системе. Дальнейшее же социальное переустройство оно надеялось возложить на плечи своих преемников, кем бы они ни оказались. Однако день ото дня становилось все очевидней, что это невозможно. С тем же успехом Совет мог бы провозгласить возрождение рабства. Когда энергия и золото стали производиться в неограниченных количествах, капиталистическая система была

разрушена и разрушена
невосстановимо; при первой же
попытке ее восстановить она снова
потерпела крах. Уже перед войной
половина промышленных рабочих не
имела работы, и намерение заставить
их трудиться на прежних условиях
работы по найму было чревато
неудачей с самого начала; полностью
разрушенная система денежного
обращения уже сама по себе служила
достаточным к тому препятствием, и
поэтому возникла необходимость
накормить, одеть и дать кров
огромной массе людей по всей
земле, не требуя от них возмещения в
форме того или иного труда. В
скором времени отсутствие работы

для столь огромного количества людей стало представлять собой совершенно очевидную социальную опасность, и правительству пришлось прибегнуть к такого рода ухищрениям, как элементарные декоративные работы по дереву и камню, ручное тканье, садоводство, цветоводство и разбивка парков и скверов; все эти работы производились в широких масштабах с привлечением наименее приспособленной к жизни части населения, чтобы не дать ей сойти с пути, а более молодые и способные были направлены в школы, где им выплачивали пособие и обучали их обращению с новыми атомными

механизмами... Так Совет мало-помалу невольно приступил к преобразованию жизни города и промышленного производства, а в сущности, и всей социальной системы.

Идеи, когда на их пути не воздвигают препятствий политические интриги или соображения финансового порядка, приобретают необычайно стремительное и широкое распространение, и не прошло и года, как протоколы заседаний Совета со всей очевидностью показали, что он понял, какие колоссальные возможности открываются перед ним, и частично

под своим непосредственным руководством, частично через специальные комитеты занялся созданием совершенно нового социального строя.

«В мире не может быть устойчивого социального порядка, и люди не могут чувствовать себя счастливыми, пока огромные части земного шара и большие категории людей находятся на другой стадии цивилизации, нежели преобладающая масса. Теперь уже такое положение, когда огромные группы людей находятся в неблагоприятном экономическом положении или не понимают принятой всем остальным миром

социальной задачи, стало невозможным».

Вот так Совет сформулировал свое представление о проблеме, которую ему предстояло разрешить. Крестьянин, батрак и всякий земледелец, пользующийся примитивными способами труда, находились «в неблагоприятном экономическом положении» по отношению к более образованным и менее консервативным классам, и сама логика событий вынуждала Совет проводить систематическое вытеснение этого отсталого способа производства более эффективным. Совет разработал план перехода к «современной системе» земледелия

во всем мире; эта система должна была дать каждому земледельцу полную возможность пользоваться всеми достижениями цивилизации, и такое вытеснение старого новым осуществлялось неуклонно и продолжает осуществляться по сей день. Основная идея современной системы заключается в замене индивидуального земледельца земледельческой гильдией и в полном отказе от деревенского образа жизни. Эти гильдии представляют собой союзы мужчин и женщин, получающих в совместное владение участок пахотной земли или пастбища и обязующихся производить определенное

количество зерна, мяса или других продуктов сельскохозяйственного труда. Эти союзы, как правило, не велики, что дает возможность руководить их деятельностью на строго демократических началах, но вместе с тем и достаточно многочисленны, чтобы самим производить всю работу, за исключением времени уборки урожая, когда им оказывают помощь городские жители. Возле своих полей они строят летние домики, так как быстрота и дешевизна современных способов передвижения позволяют постоянно жить в ближайшем городе, где у них есть свои дома с общей столовой и клубом, и, кроме того,

каждая гильдия обзаводится своим «домом гильдии» в столице государства или области. Благодаря этой новой системе на огромных пространствах, где в старину с незапамятных времен преобладало «сельское» население, теперь от него не осталось и следа. И мало-помалу навсегда уходит в прошлое и замкнутая, косная жизнь одинокого фермера, и мелочные дразги и обиды, зависть и недоброжелательство маленькой деревушки — все это скученное, полуживотное существование вдали от книг, от общественных интересов, в постоянном общении с коровами, свиньями, курами и их

экскрементами. Скоро все это исчезнет окончательно. Даже в девятнадцатом веке это уже перестало быть неизбежным уделом человека, и только отсутствие коллективного сознания и воображаемая потребность в грубых, необразованных солдатах и производящем классе, стоящем на низшей ступени развития, помешали этому процессу произойти еще в ту эпоху...

И одновременно с преобразованием сельской жизни лагери для городского населения, созданные Советом в первый период его деятельности, тоже быстро преобразовывались — отчасти в силу

сложившегося положения, отчасти по указаниям самого Совета — в города нового типа...

Для того, чтобы проиллюстрировать, каким образом кардинальные проблемы вынуждали Совет в Бриссаго братья за их разрешение, достаточно будет сказать, что прошел почти год, прежде чем Совет, и то с большой неохотой, приступил к созданию единого общего языка для всех народов мира, необходимость которого была очевидна. Совет, по-видимому, даже не стал рассматривать предложенные ему варианты искусственно созданного универсального языка. Он хотел как можно меньше усложнять жизнь

простых, обремененных заботами людей, а широкое распространение английского языка во всем мире с самого начала подкупило их в его пользу. Исключительная простота английской грамматики также говорила сама за себя.

Ради того, чтобы английская речь могла зазвучать во всех уголках мира, народам, говорящим на этом языке, пришлось пойти на некоторые жертвы. Язык лишился целого ряда грамматических особенностей, в частности старых форм сослагательного наклонения и большинства неправильных образований множественного числа; правописание было упорядочено и

приспособлено к гласным, существующим в других европейских языках, после чего начался процесс заимствования иностранных имен существительных и глаголов, чрезвычайно быстро достигший колоссальных размеров. Через десять лет после создания Всемирной Республики «Словарь Нового Английского Языка» так разросся, что уже включал в себя двести пятьдесят тысяч слов, так что человеку, жившему в 1900 году, было бы совсем нелегко Прочесть обыкновенную газету.

И в то же время люди новой эпохи по-прежнему могли оценить достоинства старой английской

литературы...

Единообразие было введено и в других областях, имевших не столь принципиальное значение. Стремление к всеобщему взаимопониманию и облегчению всякого рода общения и связей, естественно, повлекло за собой принятие повсюду метрической системы весов и мер и уничтожение многочисленных отличных друг от друга календарей, чрезвычайно затемнявших до последнего времени хронологию. Год был разделен на тринадцать месяцев, по четыре недели в каждом, а День Нового Года и День Високосного Года, объявленные праздниками, не

входили в счет обычных недель. Так системе месяцев и недель была дана четкость и стройность. Помимо этого, было решено, как выразился в разговоре с Фермином король, «пригвоздить к месту пасху».

В этих вопросах, как и во многих других, новая цивилизация проявляла себя в форме упрощения сложностей старой. История календаря на протяжении всей мировой истории представляет собой несовершенные попытки его упорядочить — восходившие к седой древности попытки зафиксировать время посева и день зимнего солнцестояния, — и это окончательное упорядочение

календаря имело чисто символическое значение, выходящее далеко за пределы практического удобства. Однако Совет не позволял себе слишком резких нововведений; он не переименовал месяцев и не изменил летосчисления.

Во всем мире уже была принята единая монетная система. В течение нескольких месяцев после того, как Совет взял власть в свои руки, мир существовал без какой-либо твердой валюты. Деньги еще были в ходу на довольно больших пространствах, но достоинство их колебалось самым фантастическим образом, как и доверие к ним населения. Золото перестало быть, как прежде, редким

металлом, и вся денежная система рухнула. Золото навсегда превратилось теперь в продукт отхода в процессе высвобождения атомной энергии, и стало ясно, что уже ни один металл не сможет больше послужить основой денежной системы. С этой минуты любые денежные знаки имели лишь условную стоимость. Однако мир привык иметь дело с металлической монетой, связи и взаимоотношения между людьми в огромной мере выросли и зиждились на основе наличных расчетов и были почти непредставимы без участия этого чрезвычайно удобного посредника. Для продолжения жизни

человеческого общества как социального организма казалось совершенно необходимым существование денежного обращения в том или ином виде, и перед Советом встала задача найти какую-то подлинную ценность, которая могла бы послужить базисом денежной системы. Были рассмотрены такие, казалось бы, устойчивые ценности, как земля и труд, выраженный в часах. Наконец правительство, в руках которого были теперь сосредоточены почти все запасы атомного сырья, объявило золотой соверен единицей денежного обращения, приравняв его стоимость к определенному

количеству единиц энергии и установив одновременно, что один соверен равен двадцати маркам, двадцати пяти франкам, пяти долларам и так далее; оно также приняло на себя обязательство при соблюдении определенных условий отпускать в виде обеспечения указанное количество энергии за каждый предъявленный золотой соверен. В целом эта система оправдала себя. Фунт стерлингов избежал полной девальвации. Репутация металлических денег была восстановлена, и после некоторого колебания цен деньги в их привычном наименовании снова начали входить в употребление и

приобретать более или менее
устойчивые эквиваленты в
повседневном обиходе людей...

Когда Совет в Бриссаго увидел, что задуманные как временные поселения лагеря быстро превращаются в большие города нового типа и он, таким образом, волей-неволей перестраивает мир, решено было дело перераспределения городского населения земного шара передать в руки координатора и специального комитета из наиболее квалифицированных людей. Теперь этот комитет является всемирным правительством в гораздо большей мере, чем сам Совет или любой другой из его комитетов.

Деятельность этого комитета —
непрекращающаяся активная
планировка и перепланировка мира
как места обитания людей, — истоки
которой, почти неприметные вначале
и носившие название
«градостроительства», следует
искать где-то не то в Европе, не то в
Америке конца девятнадцатого
столетия (вопрос этот окончательно
еще не решен), представляет теперь
собой, так сказать, коллективную
материальную деятельность всего
человечества в целом. Пришло к
концу стихийное беспорядочное
расселение и перемещение народов
(столь же бесцельное и
неосмысленное, как растекание в

разные стороны выплеснутой на землю воды), занимавшее огромное место в истории человечества на протяжении бессчетного количества веков и приводившее здесь к перенаселению, там — к нескончаемым опустошительным войнам и повсюду — к хаотичности, в лучшем случае колоритной, но крайне неудобной. Теперь люди расселяются по всем годным для жизни уголкам земли, и помогает им в этом все человечество в целом всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Города не привязаны больше к проточной воде и плодородным землям, стратегические соображения не

играют больше роли при их постройке и планировании, так же как и вопросы социальной неустойчивости. Аэроплан и очень дешевый быстроходный автомобиль положили конец прежним торговым путям; единый язык и единые для всего мира порядки и законы уничтожили тысячи всевозможных затруднений и неудобств, в результате чего началось небывалое расселение людей по всей земле. Человек получил возможность жить где угодно. Вот почему наши города теперь представляют собой не случайные скопления людей, а подлинно общественные поселения, обладающие каждое своими

отличительными особенностями, объединенные общими интересами и нередко общим родом занятий. Они разбросаны среди бывших пустынь — этих водоемов солнца, которые на протяжении стольких веков были потеряны для человечества, они устремляются ввысь среди вечных снегов, прячутся на далеких островах, в океане, нежатся на берегах глубоких лагун. На первых порах все человечество стремилось покинуть долины рек, служившие ему колыбелью полмиллиона лет, но теперь, когда Война с Мухами близка к завершению и эти тлетворные насекомые уничтожены почти все до единого, люди начинают

возвращаться на прежние места, так как их снова потянуло к опоясанным ручьями садам, к жизни, так приятно протекавшей среди островов, гондол и мостов, к ночным огням фонарей, отраженным в воде залива.

Человек, перестающий быть животным, занятым обработкой земли, все более и более превращается в строителя, путешественника и творца. Из Отчетов Комитета Расселения видно, насколько человек перестает быть земледельцем. Из года в год наши научные лаборатории упрощают труд земледельца и повышают его производительность; менее одного процента населения земного шара

занято сейчас производством
продуктов питания, да и эта цифра
неуклонно уменьшается. Количество
людей, обладающих образованием и
склонностями земледельца,
значительно превышает
общественную потребность в них, и
труд их теперь обращен на
возделывание садов, парков, газонов
и обширных великолепных
цветников, которые занимают в
нашей жизни все больше и больше
места. По мере усовершенствования
методов земледелия растет урожай, и
одна сельскохозяйственная
организация за другой решает,
пользуясь постановлением 1975 года,
превратить свои поля в

общественный парк и сады
увеселений. Таким образом,
неуклонно увеличивается
пространство, отданное свободному
времяпрепровождению и красоте. И
победы ученых-химиков, создающих
синтетические продукты питания,
пока еще не находят себе
практического применения просто
потому, что питаться естественными
продуктами и выращивать их гораздо
приятнее и интереснее. И с каждым
годом все разнообразней становятся
сорта наших фруктов и все
прекрасней наши цветы.

В первые годы существования Всемирной Республики имели место рецидивы разного рода политических авантур. Небезынтересно отметить, что после гибели короля Фердинанда-Карла попыток возродить сепаратизм больше не замечалось, но когда самые насущные материальные потребности населения были удовлетворены, в ряде стран появились очень малопохожие люди, в действиях которых было нечто общее: все они стремились воскресить былые политические неурядицы, чтобы с их помощью

достичь высокого положения и влияния. Ни один из этих авантюристов не пытался выступить от имени короля, откуда явствует, что монархизм успел устареть еще в девятнадцатом веке, но все они играли на пережитках националистических и расовых предрассудков, которых было немало в любой стране, и не без известного основания утверждали, что Совет попирает расовые и национальные обычаи и не считается с религиозными установлениями. Равнины Индии особенно изобиловали такого рода агитаторами. Возрождение газет, переставших печататься в страшный

год из-за краха денежной системы, дало оружие в руки недовольных и помогло им организовать. Вначале Совет не придавал значения растущей оппозиции, а затем признал ее с обезоруживающей прямотой.

Разумеется, еще никогда не существовало столь условного правительства. Оно было на редкость незаконным. В сущности, это скорее был клуб — клуб из ста или около того человек. Вначале их было девяносто три, но это число впоследствии увеличилось за счет привлечения новых членов, количество которых всегда превышало количество умерших, так

что одно время Совет состоял даже из ста девятнадцати членов. Состав его был неизменно разнороден. Привлечение новых членов никогда не основывалось на признании чьих-либо прав. Старый институт монархии неожиданно сослужил свою службу новому режиму. Девять членов первоначального состава нового правительства были коронованными особами, добровольно отрекшимися от трона, и никогда потом число представителей былых династий не падало ниже шести. Если они и два-три бывших президента республики обладали хоть какой-то тенью права на власть, то все остальные члены

Совета не имели уже решительно никаких прав на участие в управлении миром. Естественно поэтому, что их противники легко находили общий язык в вопросе о возрождении представительного правительства и возлагали большие надежды на возвращение к парламентской системе.

Совет решил дать недовольным все, чего они требовали, однако в такой форме, которая мало отвечала их намерениям. В мгновение ока он превратился в представительный орган. Он стал даже сверхпредставительным. Он стал столь представительным, что все политиканы захлебнулись в потоке

избирательных голосов. Все взрослое население обоих полов от Южного полюса до Северного получило право голоса; весь земной шар был разделен на десять избирательных округов, которые голосовали в один и тот же день с помощью весьма простого усовершенствования почтовой связи. Члены правительства избирались пожизненно и могли быть отозваны только в исключительных случаях, но раз в пять лет проводились новые выборы и в правительство дополнительно избирались еще пятьдесят человек. Была принята система пропорционального представительства и прямого

голосования, причем избиратель имел также право указать на избирательном бюллетене в специально отведенной для этого графе, кого именно из своих представителей он хотел бы отозвать. Однако, чтобы отозвать выборное лицо, требовалось такое же количество голосов, каким оно было избрано, а для членов правительства первого состава — столько же голосов, сколько дали результаты первых выборов по любому избирательному округу.

На этих условиях Совет охотно отдал свою судьбу в руки избирателей всего земного шара. Ни один из членов Совета не был

отозван, а пятьдесят новых избранных его коллег, из которых двадцать семь имели рекомендации самих членов Совета, были слишком разнородны по своему составу, чтобы изменить общее направление его политики. Отсутствие каких-либо обязательных процедур или формальностей не давало возможности устроить обструкцию внутри него, и когда один из двух новых членов-индийцев, сторонников внутренней автономии, спросил, как можно внести законопроект, он узнал, что законопроекты вообще не вносятся. Индийцы решили обратиться к спикеру и удостоились выслушать

немало мудрых поучений из уст бывшего короля Эгберта, принадлежавшего теперь к старожилам Совета. Все это ошеломило их раз и навсегда...

Но в эти дни работа Совета уже близилась к концу. Его усилия были теперь направлены не столько на дальнейшую созидательную деятельность, сколько на охрану уже достигнутых результатов, защиту их от театральных эффектов политиканов.

Человечество все более и более освобождалось от необходимости подчиняться какому-либо официальному правительству. Деятельность Совета на

первоначальной ступени была высоко героична. Он вышел на смертный поединок с драконом и одним ударом разрубил хитросплетенный клубок устарелых понятий и нелепых, неуклюжих, порожденных завистью законов собственности; он разработал широкую и благородную систему охранительных институтов, обеспечил свободу пытливости мысли, свободу критики, свободу общения, единую основу для воспитания и образования, а также освобождение от экономического гнета.

Совет все больше и больше становился скорее залогом

надежности достигнутого, чем фактором активного вмешательства. До наших дней не сохранилось ничего, что хотя бы в какой-то мере напоминало ту атмосферу мелочных споров и распрей, в которой не столько создавалось, сколько усложнялось и запутывалось законодательство и которая являлась, пожалуй, наиболее ошеломляющей чертой всей общественно-политической жизни девятнадцатого столетия. В том веке люди, по-видимому, только и делали, что издавали законы, в то время как мы в подобном случае просто по мере надобности изменяли бы некоторые установления. Эта деятельность по

изменению установлений, которую мы поручаем ученым комитетам специального назначения, обладающим необходимыми познаниями и идущим в ногу с общим процессом интеллектуального развития общества в целом, находилась в девятнадцатом веке в сетях законодательной системы. У них шли споры по мелочам. В наше время это столь же странно, как спорить из-за незначительных приспособлений какой-нибудь сложной машины. Для нас теперь так же ясно, что жизнь должна протекать в рамках известных законов, как то, что день должен сменяться ночью. И наше

правительство собирается теперь на день-два один раз в году в залитом солнцем Бриссаго, когда расцветают лилии святого Бруно, — собирается, в сущности, только для того, чтобы благословить деятельность своих комитетов. И даже сами эти комитеты, в свою очередь, теперь уже скорее являются носителями общественных идей, нежели инициаторами. Становится все труднее выделять из общей массы отдельные руководящие личности. Мало-помалу значение отдельной личности для нас стирается. Каждая хорошая мысль служит теперь общему делу, и каждый одаренный мозг находит себе применение в

сфере того широкого и свободного
содружества людей, которое сливает
воедино и направляет к единой цели
энергию и волю всего человечества.

Вряд ли когда-нибудь вновь вернется тот этап развития общества, когда «политика», иначе говоря, своевольное вмешательство в здравые установления общественного характера, была главным интересом в жизни серьезных людей. Мы, по-видимому, уже вступили в совершенно новую в истории фазу, когда соперничество — в отличие от соревнования — почти сразу из движущей силы человеческого существования превратилось в нечто позорное, подавляемое и уничтожаемое. Профессии, основанные на соперничестве,

перестали быть почетным занятием. Мир между отдельными нациями принес с собой и мир между отдельными людьми. Мы живем в обществе, достигшем совершеннолетия. Человек-воин, человек-законник уходят в область небытия вместе со всем тем, что насаждало распри и раздор; на смену этим пережиткам варварских, низких страстей приходит мечтатель, человек-ученый, человек-художник.

Нет жизни, которую можно было бы назвать единственно естественной для человека. Он был и остается лишь вместилищем разнообразных и даже несовместимых возможностей —

древним свитком, на котором налагается друг на друга множество предрасположений. В начале двадцатого столетия многие писатели имели обыкновение говорить о конкуренции, о замкнутой, узкой жизни, посвященной стяжательству, накоплению, о подозрительности и отчужденности так, словно все это воплощало основные свойства человеческой натуры, а широта ума, стремление не к обладанию, а к созиданию были уклонением от нормы, к тому же весьма поверхностным. Насколько эти писатели были неправы, стало ясно в первые же десятилетия после

установления Всемировой
Республики. Как только мир был
освобожден от огрубляющей душу
неуверенности в завтрашнем дне, от
бессмысленной борьбы за
существование, разобщающей людей
и поглощающей личность, стало
совершенно очевидно, что в людях, в
огромном их большинстве, живет
задавленное стремление к
созиданию. И мир начал созидать —
сначала преимущественно в
эстетическом плане. Эта эра в
истории человечества, удачно
названная «Цветением», еще не
закончилась. Большинство населения
земного шара состоит сейчас из
художников в широком смысле этого

слова, и в основном деятельность людей направлена уже не на то, чтобы создавать повседневно необходимое, а на то, чтобы улучшить, украсить, одухотворить жизнь. В последние годы этот созидательный процесс претерпел значительные изменения. Он стал более целенаправленным; первоначальное стремление к изяществу и красоте уступило место большей углубленности, выразительности. Но это не меняет существа самого процесса, это скорее вопрос оттенков. Перемены эти связаны с расширением и углублением образования и развитием философии. На смену

первым безотчетно-ликующим взлетам фантазии пришли более осознанные и более плодотворные творческие порывы. Во всем этом есть естественная закономерность, ибо искусство приходит к нам раньше науки, как удовлетворение насущных потребностей приходит раньше искусства и как игра и развлечение возникают в жизни человека прежде, чем достижение сознательно поставленной перед собой задачи...

На протяжении тысячелетий накапливалось в человеке это стремление к творческой деятельности, борясь против ограничений, поставленных перед

ним его социальной неприспособленностью. Этот уголек тлел давно, и наконец пламя вспыхнуло и вырвалось наружу. Летописи и памятники, оставшиеся нам от наших предков, необычайно трогательно и трагично свидетельствуют об этом извечно подавляемом стремлении создать что-то. В мертвой зоне погибшего под атомными бомбами Лондона еще сохранился квартал маленьких особнячков; он дает довольно яркое представление о старом укладе жизни. Эти домики чудовищны, однообразны, квадратны, неуклюжи, придавлены к земле, уродливо несоразмерны в своих частях,

неудобны для жилья, грязны и в некоторых отношениях просто омерзительны; только люди, доведенные до отчаяния, потерявшие всякую надежду на что-либо лучшее, могли жить в таких домах; однако к каждому из этих жилищ примыкает жалкий маленький прямоугольник земли, именуемый «садом», где почти всегда можно обнаружить подпорку для веревки, на которой сушилось белье, мерзейший ящик с отбросами и урну, доверху набитую яичной скорлупой, золой и прочим мусором. Теперь, когда этот район можно посещать почти без всякого риска, так как лондонская радиация уже настолько потеряла силу, что

практически почти не имеет значения, мы в каждом таком «саду» обнаруживаем стремление что-то создать. В одном это будет жалкая маленькая дощатая беседка, в другом — сложенный из кирпича «фонтан», украшенный ракушками, в третьем — нечто вроде «мастерской», в четвертом — «грот». И в каждом жилище вы увидите жалкие дешевые украшения, неуклюжие статуэтки, неумелые рисунки. Все эти усилия украсить жизнь выглядят невероятно нелепо, словно они созданы человеком с повязкой на глазах; у впечатлительного наблюдателя они могут вызвать почти такое же мучительное чувство жалости, как

нацарапанные на стене рисунки, которые мы порой находим в старых тюрьмах; однако они существуют, и все они говорят о задавленных созидательных инстинктах, рвущихся на свободу. Наши бедные предки ощупью, в потемках стремились обрести эту радость творческого самовыражения, которую принесла нам наша свобода...

В былые времена одно стремление было общим для всех простых душ — обладать небольшой собственностью, клочком земли, обособленно стоящим домиком, словом, тем, что англичане называли «независимым положением». И это стремление к собственности и

независимости было так сильно в людях, очевидно, именно потому, что в нем осуществлялась их мечта к самовыражению. Это было творчество, это была игра, это была возможность сделать что-то свое, отличительное, не похожее на других и получить от этого наслаждение. Собственность всегда была только средством к достижению цели, а скупость — извращением благородного инстинкта. Обладание было нужно людям, чтобы свободно творить. Теперь, когда каждый имеет возможность уединиться в своем собственном жилище, это стремление к обладанию получило новое выражение. Люди

приобретают знания, и трудятся, и накапливают ценности для того, чтобы оставить после себя ряд прекрасных панно в каком-нибудь общественном здании, ряд статуй на какой-нибудь террасе, или в роще, или в павильоне. Иные стараются проникнуть в какую-нибудь тайну природы, посвящают себя разгадке еще не раскрытых таинственных явлений с той же страстью, как некогда люди посвящали свою жизнь накоплению богатств. Труд, бывший когда-то основой общественной жизни человека — ибо большинство людей тратило всю свою жизнь на то, чтобы заработать себе на пропитание, — для современного

человека не большее бремя, чем тот заплечный мешок с провизией, который брал с собой в старину альпинист, решив подняться на вершину горы. В наш век просвещения и изобилия не имеет значения то, что большинство людей, внесших свой вклад в общее дело, не создает ни новой мудрости, ни новой красоты, а просто занято тем или иным приятным и веселым видом деятельности, который помогает им ощущать полноту жизни. Быть может, и они приносят свою пользу тем, что воспринимают окружающее и откликаются на него, и так или иначе они ничему не мешают...

Все эти гигантские перемены в человеческой жизни во всех ее аспектах, которые происходят вокруг нас, перемены столь же стремительные и чудесные, как переход юноши из полуварварского состояния подростка к зрелости мужчины, сплетены воедино с переменами нравственного и духовного порядка, почти столь же грандиозными и беспрецедентными. И дело не в том, что старое уходит из жизни и в нее приходит новое, а скорее в том, что изменившиеся обстоятельства в жизни людей пробуждают все, что было заглушено

в душе человека, и подавляют то, что, будучи чрезмерно поощряемым, получало чрезмерное развитие. Человек не столько вырос и изменил свою натуру, сколько повернулся к свету своей другой стороной. Это явление наблюдалось и раньше, но не в таком масштабе. Так, например, в семнадцатом веке шотландские горцы были кровожадными и жестокими разбойниками, а в девятнадцатом веке их потомки отличались высокой честностью и порядочностью. В начале двадцатого столетия в Западной Европе не существовало народа, который был бы, казалось, способен на гнусную массовую резню, и в то же время

любой из них был в ней повинен на протяжении предыдущих двух столетий. Утонченная, беззаботная, дышащая благородством жизнь привилегированных классов любой европейской страны в годы, предшествующие последним войнам, протекала в сфере совсем иных мыслей и чувств, нежели замкнутое, тусклое, исполненное черствости и подозрительности существование респектабельных бедняков или примитивные чувства самых низших слоев населения, среди которых властвовали грубая сила, убожество и первобытные страсти. Однако между этими тремя мирами не существовало истинных,

принципиальных различий; все зависело только от среды, образа мыслей, традиций. Если же обратиться к отдельным примерам, то свидетельством разнообразных возможностей, заложенных в природе одного человека, может послужить разительное различие в жизни, которую вел религиозный фанатик до и после своего обращения к богу.

Атомная катастрофа не только выгнала людей из городов, оборвала их деловую деятельность и экономические связи — она разрушила их старинный, устойчивый образ мыслей, уничтожила предрассудки и понятия,

некритично унаследованные от предков. Выражаясь языком прежних химиков, начался новый «процесс возникновения»; люди были освобождены от всех прежних уз, и им предстояло заменить их другими, которые могли оказаться и хорошими и дурными.

Совет указал им путь к добру. Король Фердинанд-Карл, если бы его бомбы достигли своего назначения, быть может, вновь сковал бы человечество бесконечной цепью зла. Но осуществить эту задачу ему было бы труднее, чем Совету — свою. Нравственное потрясение — результат атомных взрывов — было огромно, и на какой-то срок темные

стороны человеческой натуры победило искреннее убеждение в настоятельной необходимости радикальных перемен. Дух наживы и дух сутяжничества жалко съежились, испуганные делом своих рук. Перед лицом небывало страстного стремления к новым идеалам мало кто рисковал искать для себя мелкой личной выгоды, а когда эти плевелы начали прорасти снова и всяческие «притязания» поднимать голову, почва, в которую они попали, оказалась каменистой и неплодородной, ибо были уже реформированы законодательство и суд, и новые законы не оглядывались на отжившее прошлое, а были

обращены в будущее, и жаркое солнце преображенного мира выжигало сорняки. Возникла новая литература, по-новому осмысливалась история, в школах уже учили по-новому, и новые идеалы прочно овладели молодыми сердцами. Почтенный делец, который, предвосхитив строительство нового научно-изыскательского поселка на холмах Сассекса, скупил там всю землю, был высмеян и изгнан из суда, когда он попытался потребовать за нее какой-то неслыханной компенсации, а обладатель сомнительного патента Дасс в последний раз появляется на страницах истории в качестве

обанкротившегося владельца газеты «Где справедливость?», в которой он требует от человечества уплаты долга в размере ста миллионов фунтов. Таким образом, представление хитроумного Дасса о справедливости сводилось к убеждению, что ему обязаны ежегодно выплачивать пять миллионов фунтов, поскольку он сумел присвоить себе частицу открытия Холстена. Дасс в конце концов непоколебимо уверовал в свои права, заболел манией преследования и скончался в частной психиатрической лечебнице в Ницце. Произойди все это в Англии в начале двадцатого столетия, оба эти человека, несомненно, оказались бы

владельцами несметного богатства и титула баронета, и совершенно иная их участь выражает существо новой эры.

Новое правительство очень быстро поняло необходимость единого всеобщего образования, без которого человечество было бы неспособно воспринять идею единого всемирного управления. Оно не стало прямо нападать на национальные, местные и сектантские формы религии, превращавшие в те годы мир в лоскутное одеяло, сшитое из ненависти и недоверия; оно предоставило религиозным организациям искать путь к богу на

свой лад, но объявило как чисто светскую доктрину требование уважения ко всем и необходимость для каждого поступаться личным во имя общего блага; оно возродило школы во всех уголках земли и учредило новые, и в каждой школе изучалась история войны, а также последствия и нравственный урок Последней Войны, и внушалась одна мысль, внушалась не как чье-то мнение, а как непреложный факт: спасение мира от вражды и гибели — общественный долг и прямая задача каждого мужчины и каждой женщины на земле. Все эти идеи, ставшие для нас теперь самыми элементарными, самыми

банальными истинами, представлялись членам Бриссагского Совета, когда они впервые отважились обнародовать их, необычайно смелыми открытиями, способными воспламенить души.

Провести реформу образования Совет поручил комитету, в который вошли и мужчины и женщины, и он проводил эту работу на протяжении нескольких десятилетий чрезвычайно эффективно и с большим размахом. Этот комитет образования, дополняя деятельность комитета перераспределения населения, занимался и продолжает заниматься по сей день вопросами нравственно-духовного порядка. И

самым выдающимся деятелем этого комитета, а по существу — и довольно долгое время, — руководителем его был некий русский по фамилии Каренин, выделявшийся еще и тем, что он был калека от рождения. Тело этого человека было так согнуто, что он едва мог передвигаться; с годами он стал испытывать все более тяжкие страдания и должен был в конце концов подвергнуться двум операциям. Второй операции он не перенес. Всякого рода уродства, имевшие настолько широкое распространение в средние века, что калека-нищий непременно сыскался бы в любой толпе как неотъемлемая

и характерная ее особенность, в новом мире становились редкостью уже в те годы. И уродство Каренина довольно странно воздействовало на его коллег: их отношение к нему было окрашено жалостью и некоторой отчужденностью. Преодолеть это ощущение могла привычка, а не доводы рассудка.

У Каренина было волевое лицо с глубоко посаженными небольшими, но ясными карими глазами и крупным, решительным тонкогубым ртом, желтая морщинистая кожа и черные с сильной проседью волосы. Он был нетерпелив, а порой даже терял над собой контроль и сердился, но его вспышки ему легко извиняли:

ведь страдание, как огонь, вечно жгло его тело. Под конец его жизни престиж этого человека был очень высок. Ему более, чем кому-либо из его современников, обязаны мы тем духом самоуничтожения, тем отождествлением себя со всем обществом, которое легло в основу единого образования. Всемирно известное обращение ко всем педагогам земного шара, являющееся как бы ключом ко всей современной системе образования, быть может, целикам вышло из-под его пера.

«Тот, кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, — писал Каренин. — Таков девиз, начертанный на печати, скрепившей

ЭТОТ документ, и такова наша исходная позиция во всем, что нам предстоит сделать. Было бы ошибкой видеть в этом что-либо иное, кроме простого утверждения факта. Это должно лечь в основу вашей работы. Вы должны учить забывать своекорыстные интересы, и все остальное, чему вы будете учить, должно быть подчинено этой задаче. Образование и воспитание — это освобождение человека от самого себя. Вы должны расширять кругозор ваших воспитанников, поощрять и развивать их любознательность и их творческие порывы, поддерживать и углублять их альтруистические чувства. Вот в чем ваше призвание.

Руководимые и направляемые вами, они должны сбросить с плеч наследие ветхого Адама — инстинктивную подозрительность, враждебность, неистовость страстей — и обрести себя заново как частицу необъятной вселенной. Тесный замкнутый круг эгоизма должен распасться, раствориться в мощном стремлении к единой общечеловеческой цели. И все то, чему вы будете учить других, вы должны скрупулезно постигать сами. Философия, наука, искусство, все виды мастерства, общественная деятельность, любовь — вот в чем спасение от одиночества эгоистических желаний, от

тягостного погружения в самого себя
и в свои личные взаимоотношения,
которое является проклятием
индивидуума, изменой человечеству
и отступничеством от бога...»

Когда дела и события достигают полного завершения, только тогда можно постичь их смысл и значение. Теперь, в наш новый век, оглядываясь назад, мы можем с полным пониманием охватить все расширяющийся поток литературы. Смыкаются казавшиеся прежде разобщенными звенья единой цепи, и то, что подвергалось когда-то осуждению как жестокое и бесцельное, предстает перед нами теперь факторами единой гигантской проблемы. Огромная часть наиболее правдивых творений человеческого духа восемнадцатого, девятнадцатого

и двадцатого столетий неожиданно оказывается совершенно единомышленной в своей сущности; они предстают перед нами как бесконечное сплетение вариаций на одну и ту же тему, тему борьбы эгоистических страстей и узости кругозора, с одной стороны, и растущего сознания более широких потребностей и менее замкнутого существования — с другой.

Этот конфликт присутствует, например, даже в таком раннем сочинении, как «Кандид» Вольтера, где стремление не только к счастью, но и к высшей справедливости разбивается о противодействие людей и вынуждено в конце концов

найти весьма неубедительное удовлетворение в малом. «Кандид» был одним из первых сочинений среди бесконечного множества книг, наполненных глухим протестом, тревогой, жалобой. Романы, особенно романы девятнадцатого столетия, если оставить в стороне чисто развлекательную литературу, свидетельствуют об этом тревожном осознании происходящих перемен, зовущих к действию, и об отсутствии этих действий. Перед нами проходит целый сонм этих видений; на тысячу ладов — то шутливо, то трагично, то с нелепой аффектацией олимпийского безразличия — они повествуют о жизни, протекающей в

мучительном разладе между мечтой и узкими рамками действительности. Мы то смеемся, то плачем, то недоумеваем, погружаясь в этот подробный и непреднамеренный отчет о том, как мужавший дух человека порой осторожно, порой страстно, порой озлобленно и всегда, по-видимому, безуспешно пытался приспособиться к своим заплатанным, обветшалым одеждам, неудобство которых приводило его в ярость. И всегда, во всех этих книгах, лишь только вы начинаете приближаться к сути дела, как вас постигает разочарование, и автор словно уклоняется от самого главного. Одна из самых нелепых

условностей того времени заключалась в том, что писатель не должен был касаться религии. В противном случае он рисковал навлечь на себя ревнивую ярость великого множества профессиональных религиозных наставников. Можно было констатировать существующий разлад, но запрещалось искать каких бы то ни было путей к примирению. Религия была привилегией церкви...

И не только беллетристические произведения избегали касаться религии. Ее игнорировали газеты; ее тщательно обходили при обсуждении различных деловых вопросов, и во всех общественных делах она играла

ничтожную, жалкую роль. И продиктовано это было не презрением к религии, а почтением к ней. Древние религиозные институты все еще пользовались у людей таким большим уважением, что приложение религии к повседневной жизни казалось им кощунством. Это странное отчуждение религии продолжало существовать и в начале новой эры. Ясный ум Марка Каренина в значительно большей мере, чем влияние других его современников, помог вернуть религию простой человеческой жизни. Каренин воспринимал религию без каких-либо иллюзий, без суеверного

трепета, как нечто простое и обычное, столь же необходимое для человека и для благополучия Республики, как воздух и пища, земля и энергия. Он видел, что религия, в сущности, уже сама вырвалась из оков церковных иерархий, храмов и символов, в которые пытались заключить ее люди, и уже тайно и неосознанно способствует всеобщему принятию новой, более высокой ступени развития человеческого духа. И он дал этой тенденции более ясное выражение, приспособил ее к свету и далям новой зари...

Но если мы возвратимся к беллетристике, чтобы постичь дух

того времени, и будем знакомиться с ней в хронологическом порядке — насколько теперь удалось его установить, — то станет очевидно, что писатели в конце девятнадцатого и в начале двадцатого столетия уже гораздо острее ощущают происходящие в общественной жизни перемены, чем их предшественники. Первые прозаики пытались изображать «жизнь, как она есть»; писатели более позднего времени показывали жизнь в ее видоизменениях. Все чаще и чаще их персонажи либо пытаются приспособиться к происходящим в мире переменам, либо страдают в результате этих перемен. И чем

ближе к эпохе Последних Войн, тем все отчетливее становится эта новая концепция повседневной жизни как приспособления к беспрерывно ускоряющемуся развитию. Книга Барнета, сослужившая нам столь хорошую службу, совершенно откровенно показывает мир, подобный кораблю, гонимому ветром по волнам. Писатели начала нашей эпохи открывают перед нами бесконечную галерею индивидуальных конфликтов — столкновения старых обычаев, привычек, ограниченных идеалов, мелких характеров и врожденных предрассудков с новыми широкими возможностями, которые открыла

нам жизнь. Они описывают чувства стариков, вырванных из привычного окружения и принужденных мириться с непривычным для них комфортом, с которым они никак не могут освоиться. Они показывают нам разлад между откровенным эгоизмом юности и еще недостаточно четко определившимися требованиями меняющихся социальных условий. Они рассказывают нам о стремлении захватить и изуродовать наши души, о романтических неудачах и трагических заблуждениях тех, кто не понял, куда стремится мир, о дерзании и любопытстве и о том, как они внесли свою лепту в общее

стремление к одной цели. И все их повествования кончаются рассказом либо об утраченном счастье, либо о счастье завоеванном, либо о гибели, либо о спасении. И чем зорче глаз художника и тоньше его искусство, тем глубже проникающая его произведение убежденность, что мир может быть спасен. Ибо все жизненные пути ведут к религии для тех, кто пойдет по ним достаточно далеко...

Людам старой эпохи показалось бы странным, что вопрос о том, является ли наш мир целиком христианским или совершенно нехристианским, до сих пор остается нерешенным. Во всяком случае, мы,

несомненно, сохранили дух христианства, хотя и отбросили многие его временные формы. Христианство было первым проявлением мировой религии, первым полным отрицанием племенного духа распрей, войн. То, что вскоре оно восприняло ритуалы более древних религий, не меняет дела. Человеческому разуму пришлось пройти через две тысячи лет испытаний, чтобы постичь наконец, какие здравые, истины скрыты в давно известных и приевшихся заповедях христианской веры. Мыслитель-социолог, по мере того как он все шире и шире постигает нравственные проблемы

общественной жизни, неизбежно приходит к учению Христа, и так же неизбежно христианин, по мере того как он учится мыслить, приходит к Всемирной Республике. А что касается притязаний различных сект, проблем наименования и преемственности, то мы живем в эпоху, которая освободилась от подобных пут.

Часть пятая
«Последние дни
Марка Каренина»

Вторую операцию Марку Каренину сделали в новой хирургической больнице, расположенной в Паране, высоко в Гималаях над ущельем, где Сатледж покидает Тибет.

На земле нет ничего равного дикой красоте здешней природы. С любого места гранитной террасы, опоясывающей с четырех сторон невысокие корпуса лабораторий, открывается вид на горы. Внизу, прячась от глаз в синей глубине ущелья, кипит река, пробиваясь к густонаселенным равнинам Индии. Но ее яростный рев не долетает сюда

и не нарушает торжественного безмолвия этих высот. По склонам синего ущелья растут гигантские гималайские кедры, но с высоты они кажутся лишь пятнышками мха, а за ущельем на огромном пространстве громоздятся исхлестанные ветрами, исполосованные снежными лавинами многоцветные скалы с вершинами, обточенными в шпили. Эти скалы — северная оконечность ледяной и снежной горной пустыни, которая к югу возносится все выше и выше, становясь все более дикой и неприступной, и увенчивается высочайшими вершинами нашей планеты — Дхаулагири и Эверестом. Здесь высятся утесы, подобных

которым нет нигде на земле, и разверзаются пропасти, столь глубокие, что на дне их можно было бы спрятать Монблан. Ледники здесь огромны, как внутренние моря, и столь густо усыпаны огромными валунами, что на них под ничем не заслоненными солнечными лучами распускаются странные мелкие цветы. На севере, закрывая от взора плоскогорье Тибета, устремляется ввысь эта фарфоровая цитадель, этот готический собор — Риво-Парджул, он возносит над рекой свои стены, башни, шпили — двенадцать тысяч футов пестрых зубчатых скал. А за ним — и на востоке и на западе — в синее гималайское небо уходят

бесчисленные вершины. И где-то внизу застыла гряда облаков, несущих Индии дождь и остановленных невидимой рукой.

Сюда, с быстротой сновидения пролетев над ирригационными сооружениями Раджпутаны, над куполами и башнями Верхнего Дели, прибыл Каренин, и сбившиеся в кучу крошечные здания (хотя высота южных стен их равна почти пятистам футам) показались ему, когда аэроплан, снижаясь, кружил над ними, детской игрушкой, затерянной среди горной пустыни. Сюда не было проложено дорог — единственным средством сообщения служил аэроплан.

Аэронавт посадил аэроплан
посреди просторного двора, и
Каренин с помощью своего секретаря
спустился на землю, держась за
распорки крыла, и направился к
группе людей, пришедших его
встретить.

Здесь, вдали от шума и
всяческих источников инфекции,
среди вечного покоя, был создан
оплот хирургия для научных опытов
и врачевания. Уже само здание
показалось бы весьма необычным
тому, кто привык к непрочной
архитектуре в ту эпоху, когда энергия
была еще непомерно дорога. Здание
было сложено из гранита; его
необычайной крепости стены

снаружи уже потрескались от мороза, но внутри они были отполированы. В лабиринте мягко освещенных комнат стояли блистающие чистотой столы с лабораторными приборами, а на операционных столах лежали инструменты из латуни, очень тонкого стекла, платины и золота. Со всех концов земли сюда съезжались мужчины и женщины изучать хирургию или проводить экспериментальную работу. Все они носили одинаковую белую форменную одежду и питались за общим столом; больные же помещались в верхних этажах зданий и обслуживались медицинскими

сестрами и квалифицированными сиделками...

Первым с Карениным поздоровался Циана — ученый директор института. Рядом с ним стояла Рэчел Боркен — главный администратор.

— Вы устали? — спросила она.

Старик Каренин покачал головой.

— Нет, только ноги затекли, — сказал он. — Мне давно хотелось побывать в таком институте, как ваш.

Он говорил так, словно только это и привело его сюда.

Наступила короткая пауза.

— Сколько сейчас людей ведет здесь научную работу? — спросил

Каренин.

— Триста девяносто два человека, — ответила Рэчел Боркен.

— А сколько больных и персонала?

— Две тысячи триста.

— Я буду больным, — сказал Каренин. — Я им вынужден стать. Но мне хотелось бы сначала все посмотреть. А потом я стану больным.

— Может быть, пройдем ко мне? — предложил Циана.

— А затем я должен буду поговорить с доктором, — сказал Каренин. — Но сначала мне хочется поближе познакомиться со всем, что тут у вас делается, и побеседовать с

вашими людьми.

Он поморщился и шагнул вперед.

— Почти всю свою работу я уже привел в порядок, — сказал он.

— Вы много работали последнее время? — спросила Рэчел Боркен.

— Да. А сейчас мне нечего больше делать, и это как-то странно... Ужасно скучная вещь — болезнь и необходимость заниматься собой. Эта дверь и этот ряд окон очень хороши — полоска золота на сером граните, и вдали, в пролете арки, горы. Да, это очень красиво...

Каренин лежал, укутанный в белый пушистый плед, а Фаулер, которому была поручена операция, беседовал с ним, присев на край кровати. Помощник Фаулера скромно сидел в стороне и молчал. Все обследования были закончены, и Каренин знал, что ему предстоит. Он был утомлен, но безмятежно спокоен.

— Итак, если вы меня не оперируете, я умру, — сказал он.

Фаулер кивнул.

— А после операции, — улыбаясь сказал Каренин, — я, возможно, все равно умру.

— Не обязательно.

— Допустим. Но смогу ли я вернуться к работе?

— Можно надеяться...

— Итак, скорее всего я умру, а если не умру, то, весьма вероятно, стану никчемным инвалидом?

— Я считаю, что если вы останетесь в живых, то сможете продолжать работать... так же, как сейчас.

— Ну что ж, в таком случае я, по-видимому, должен рискнуть. Но не могли бы вы, Фаулер... не могли бы вы напичкать меня лекарствами и подвинтить меня немного вместо всей этой... вивисекции? Несколько дней активной жизни на

лекарствах... а затем конец?

Фаулер задумался.

— Мы еще не научились делать подобные вещи, — сказал он.

— Но близок день, когда вы научитесь?

Фаулер кивнул.

— Вы заставляете меня чувствовать себя так, словно я последний урод на земле. Уродство — это неуверенность в себе... Неопределенность. Мое тело работает ненадежно, нельзя даже понять, будет оно жить или умрет. Скоро, вероятно, настанет время, когда тела, подобные моему, уже не будут появляться на свет.

— Видите ли, — помолчав,

сказал Фаулер, — миру необходимы такие души, как ваша.

— Да, пожалуй, — сказал Каренин, — моя душа как-то послужила миру. Но не потому, что она заключена в такое тело, вы ошибаетесь, если так думаете. В уродстве нет никаких скрытых достоинств. Меня всегда раздражало... мое состояние. Если бы я мог передвигаться свободнее и пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет человеку здоровье, я сделал бы больше. Но, быть может, со временем вы научитесь превращать деформированное тело в полноценное. Ваша наука еще только

зарождается. Это более тонкая вещь, чем физика или химия, и ей требуется больше времени, чтобы начать творить чудеса. А тем временем кое-кому из нас придется примириться со своей участью и умереть.

— В этом направлении уже проделана изумительная работа, — сказал Фаулер. — Я имею право говорить так, потому что моей заслуги тут нет. Я умею делать выводы из того, чему меня учат, могу оценить достижения тех, кто талантливее меня, и руки у меня хорошие, но те, другие — Пигу, Мастертон, Лай и остальные, — они стремительно прокладывают пути к

новым вершинам знания. У вас была возможность следить за их работой?

Каренин отрицательно покачал головой.

— Однако я могу представить себе ее грандиозный размах, — сказал он.

— У нас здесь работают сейчас очень много людей, — сказал Фаулер. — Мне кажется, что по сравнению с девятнадцатым веком количество людей, которые мыслят, бьются над разрешением задач, ведут наблюдения, ставят опыты, возросло по меньшей мере в тысячу раз.

— Не считая тех, кто ведет учет этой работе?

— Да, не считая их. Научно

поставленная регистрация всей исследовательской работы — это, конечно, сама по себе очень большая задача, и лишь теперь мы начинаем ее по-настоящему осуществлять. И уже ощущаем ее плодотворный результат. С тех пор как этот труд перестал оплачиваться, ему посвящают себя только те, у кого есть склонность к такого рода занятию, и оно превратилось в призвание. Здесь у нас есть копия энциклопедического индекса — я покажу ее вам сегодня, вам это будет интересно, — и каждую неделю карточки вынимаются и заменяются новыми, с последними данными о результатах работ; их доставляют нам

аэропланы департамента
исследовательских работ. Это индекс
знаний, и он непрерывно растет,
становится все более точным.
Подобного индекса еще никогда не
существовало на земле.

— Когда я начал работать в Комитете Образования, — сказал Каренин, — подобный индекс всех человеческих знаний казался чем-то неосуществимым. Научные

неосуществимым. Научные исследования приносили хаотические горы результатов, о которых сообщалось на сотнях различных языков, в тысячах всевозможного рода публикаций... — Он улыбнулся, вспоминая. — Как нас пугала эта работа!

— Теперь этот хаос почти полностью приведен в порядок. Вы сами увидите.

— Да, я был слишком погружен в свою работу... Конечно, мне это будет очень интересно.

[illegible]

— Вы постоянно работаете здесь? — внезапно спросил он.

— Нет, — сказал Фаулер.

— Но большую часть времени вы работаете здесь?

— Из последних десяти лет в общей сложности я проработал здесь семь. Время от времени я уезжаю — спускаюсь туда, вниз. Это необходимо. По крайней мере мне

это необходимо. Порой все здесь словно одевается серой пеленой, и тебя охватывает тоска по жизни — настоящей, исполненной страсти, когда любишь, когда ешь и пьешь ради удовольствия есть и пить... тоска по шумной толпе, интересным неожиданностям и смеху — главное, по смеху...

— Да, да, — сказал Каренин.

— А потом наступает день, когда ты внезапно снова вспоминаешь эти горы...

— Именно так жил бы и я, если бы не мое... не мои физические недостатки, — сказал Каренин. — Тому, кто этого не испытал, никогда не понять, как мучительно ощущение

неполноценности. Прекрасен будет тот день, когда на земле не останется никого, чье тело мешало бы ему вести обычную человеческую жизнь, чей дух не мог бы по своему желанию подниматься к этим вершинам.

— Мы скоро этого достигнем, — сказал Фаулер.

— Из поколения в поколение человек стремился ввысь, стремился подняться над унижительной неполноценностью своего тела и духа. Над страданиями, слабостями, подлым страхом, унынием, отчаянием. Как хорошо мне все это знакомо! Они отняли у меня куда больше времени, чем три года,

которые вы отдали отдыху. Но ведь каждый человек в какой-то мере калека и в какой-то мере животное? Я хлебнул этого чуть больше, чем другие, вот и все. Только теперь, полностью осознав эту истину, человек сможет обрести над собой власть, которая позволит ему уничтожить в себе калеку и животное. Теперь, перестав быть рабом своего тела, он впервые сможет познать полноценную телесную жизнь... Это совершится еще при жизни вашего поколения. Ветхий Адам и все остатки скотов, пресмыкающихся и прочих тварей, которые еще гнездятся в наших телах и душах, полностью подчинятся вам,

не так ли?

— Вы формулируете это чересчур смело, — сказал Фаулер.

Его осторожность заставила Каренина весело рассмеяться...

— Когда, — внезапно спросил Каренин, — когда вы будете меня оперировать?

— Послезавтра, — сказал Фаулер. — В течение суток вам придется есть и пить только то, что будет мною предписано. А думать и беседовать вы можете, о чем вам будет угодно.

— Мне хотелось бы осмотреть ваш Институт.

— Вы его осмотрите сегодня после обеда. Я распоряжусь, чтобы

для вас приготовили носилки. А завтра полежите на террасе. Ни одни горы в мире не сравнятся красотой с нашими...

На следующее утро Каренин поднялся рано и видел, как солнце вставало из-за гор; он съел легкий завтрак, после чего его секретарь Гарденер пришел узнать, как предполагает Каренин провести этот день. Хочет ли он кого-нибудь видеть? Или, быть может, терзающая его боль слишком мучительна?

— Я буду рад побеседовать с кем-нибудь, — сказал Каренин. — Здесь, несомненно, много самых различных людей, обладающих живым умом. Пусть придут поболтать со мной. Это развлечет меня... Вы не можете себе

представить, какой интерес пробуждается ко всему, когда увидишь зарю своего последнего дня.

— Последнего дня?!

— Фаулер убьет меня.

— Он этого не думает.

— Фаулер убьет меня. И даже если не убьет, то мало что от меня оставит. Словом, так или иначе это мой последний день. Если и настанут какие-то дни потом, это уже будет шлак. Я знаю...

Гарденер хотел что-то сказать, но Каренин продолжал:

— Я надеюсь, что он убьет меня, Гарденер. Не будьте... не будьте старомодны. Больше всего на свете я боюсь именно этих последующих

дней — этого жалкого лоскутка жизни. Прозябать залатанным и возвращенным к жизни куском истерзанной болью материи? Тогда... тогда все, что я скрывал, подавлял, отбрасывал или исправлял, возьмет надо мной верх. Я сделаюсь сварлив. Я могу потерять контроль над своим эгоизмом. А он и так никогда не был особенно надежным. Нет, нет, Гарденер, молчите! Вы сами знаете, вы видели, как этот эгоизм прорывался порой. Что будет, если я перенесу операцию и возвращусь к жизни — тщеславный, завистливый, ничтожный — и то уважение, которое завоевала мне среди людей моя полезная работа, использую в

своекорыстных мелких целях
калеки?..

Он на мгновение умолк, глядя, как туман в глубоких ущельях вспыхивает, пронизанный лучами восходящего солнца, превращается в светящиеся облака и тает.

— Да, — повторил он, — я боюсь наркоза, боюсь этих лохмотьев жизни. Жизнь — вот чего мы все страшимся. Смерть! Смерть не страшна никому. Фаулер — искусный хирург, но когда-нибудь хирургия будет лучше понимать свой долг и не будет так стремиться к тому, чтобы спасти... спасти лишь потому, что еще теплится что-то. Я старался держаться до конца, как должно, и

делать свое дело. Я знаю, что после операции работа будет мне уже не по силам. Так что же мне тогда останется? Да, я знаю, что буду уже не способен работать...

Не понимаю, почему надо так дорожить последней, волочащейся по земле ниточкой размотанного клубка жизни... Я, калека от рождения, знаю, что жизнь прекрасна. Я знаю это слишком хорошо, чтобы не путать ее зерно с мякиной. Запомните это, Гарденер. Быть может, в последнюю минуту у меня не хватит духу, и я впаду в отчаяние, и конец мой будет омрачен неблагодарностью и малодушным забвением всего, кроме боли... Не верьте тому, что я, быть

может, скажу тогда... Если ткань хороша, то ее обтрепанный край не имеет значения. Не может иметь значения. Пока мы существуем, мы существуем только в каждое данное мгновение, но после смерти мы — вся наша жизнь от первого вздоха до последнего.

Вскоре, как пожелал Каренин, к нему стали приходить люди, и, беседуя с ними, он смог снова забыть о себе. Рэчел Боркен довольно долго сидела с ним на террасе, разговаривая преимущественно о жизни женщин. С ней пришла девушка по имени Эдит Хейдон, уже завоевавшая себе широкую известность как цитолог. Кроме них, у него побывали молодые ученые, работавшие там, поэт Кан — больной, и Эдвардс, театральный художник. Беседа переходила с предмета на предмет и становилась то глубокой, то поверхностной, в

зависимости от темы. А потом Гарденер записал все, что ему удалось запомнить, так что мы можем еще раз ознакомиться с мировоззрением Каренина, узнать его взгляды и отношение ко многим важным сторонам жизни.

— Мы жили до сих пор в эпоху смены декораций, — сказал он. — Мы готовили сцену, очищали ее от реквизита уже разыгранной и прискучившей драмы... Если бы мне удалось посмотреть хотя бы первые явления нового спектакля!.. Как страшно загроможден был мир! Он страждал, как стражду сейчас я, под все растущим ненужным бременем. Он был запутан, сбит с толку, он был

в смятении. Он мучительно жаждал освобождения, и, быть может, ничто уже не могло освободить его и оздоровить, ничто, кроме ярости и насилия атомных взрывов. Вероятно, они были необходимы. Подобно тому, как в пораженном болезнью организме постепенно воспаляется один орган за другим, так, мне кажется, в старом мире загнивало в последние годы его существования все. Устарелые формы общественной жизни подчиняли себе, порабощали все новое и прекрасное, что дарила миру наука. Национализм, всевозможные политические организации, право собственности, институты, церкви и секты

присваивали себе новые силы, сулившие неограниченные возможности, и обращали их во зло. Они не терпели свободной речи, они преграждали путь образованию, они не могли позволить никому подняться до задач нового времени... Вы молоды, и вам не понять, какое отчаянное возмущение и безвыходное отчаяние владело нашими душами — душами тех, кто верил в безграничные возможности науки в канун открытия атомной энергии...

И суть не только в том, что большинство людей не могло понять, не хотело слушать, — в том, что у тех, кто понимал, не хватало веры. Они видели все, что происходило,

они обсуждали это и не могли сделать вывода...

Недавно я перечитывал старые газеты. Просто поразительно, как наши отцы относились к науке. Они ненавидели ее. Они ее боялись. Они позволяли существовать и работать лишь какой-то жалкой группке ученых... «Пожалуйста, не делайте нам никаких открытий о нас самих, — говорили они им, — не заставляйте нас прозревать, оставьте нас в покое в нашем узком привычном мирке, не пронзайте его ужасным лучом вашего познания. Но изобретайте для нас разные фокусы — не слишком серьезные, в пределах нашего понимания. Дайте нам

дешевое освещение. И научитесь лечить нас от некоторых неприятных болезней — от рака, от туберкулеза, от насморка — и найдите нам средство от ожирения...» Мы все это изменили, Гарденер. Наука перестала быть нашей служанкой. Мы чтим ее как нечто более высокое, чем наши отдельные личные судьбы. Это пробуждающийся разум человечества, и скоро... скоро... Как мне хотелось бы еще посмотреть — теперь, когда занавес уже поднят...

Пока я лежу здесь, они расчищают то, что осталось от Лондона после взрывов атомных бомб, — продолжал он. — Потом они начнут восстанавливать здания и

постараются вернуть им тот вид, какой они имели до взрыва. Быть может, они раскопают под обломками и тот старый домишко в Сент-Джон Вуд, где нашел приют мой отец после изгнания из России... Лондон моего детства встает у меня в памяти, словно город на какой-то другой планете. А вам, тем, кто моложе, вероятно, кажется, что такого города просто не могло быть на земле.

— А много ли от него уцелело? — спросила Эдит Хейдон.

— Говорят, что в южном и северо-западном районах города дома стоят почти не тронутые на площади в несколько квадратных

милль; сохранились также мосты и большая часть доков. Вестминстер, где помещались почти все правительственные учреждения, сильно пострадал от маленькой бомбы, совершенно уничтожившей парламент; от старинной улочки Уайтхолл и всего прилегающего к ней района правительственных зданий не осталось почти ни следа, но сохранилось очень много рисунков и чертежей стоявших там зданий, а огромная яма в восточной части Лондона не имеет особого значения. Это был район бедняков и мало чем отличался от северной окраины и южной... Почти все можно будет воссоздать... И это

очень нужно. Уже сейчас порой трудно становится восстановить в памяти былое — даже нам, кто видел его своими глазами.

— Мне все это кажется таким далеким, — сказала девушка.

— Это был нездоровый мир, — задумчиво произнес Каренин. — Когда я вспоминаю детство, мне кажется, что каждый из окружавших меня людей был чем-то болен. И они действительно были больны. Они были больны от сумбурности жизни. Каждый был охвачен беспокойством из-за денег, и каждый был занят чем-то, что было ему совсем несвойственно. Питались они какой-то странной смесью пищевых

продуктов, и ели либо слишком мало, либо слишком много и когда придется. Насколько все они страдали от болезней, видно хотя бы из объявлений и реклам. Все здания в новой части Лондона, которые сейчас раскапывают, залеплены рекламами различных пилюль. По-видимому, каждый тогда глотал какие-нибудь пилюли. На Стрэнде в одном из отелей нашли уцелевший под обломками чемодан какой-то дамы, и оказалось, что она имела при себе пилюли и таблетки девяти сортов. За веком носящих при себе оружие последовал век носящих при себе пилюли. И то и другое одинаково странно для нас. Кожа их

должна была находиться в отвратительном состоянии. Очень немногие мылись как следует. Одежда их была пропитана грязью, которая накапливалась в ней месяцами. Все носили старую одежду. Наш способ обновлять одежду, расплавляя ее и отливая заново каждую неделю, показался бы им совершенно фантастическим. Об их одежде даже думать неприятно. А в какой тесноте они жили! В этих ужасных городах, в которых нельзя было повернуться, чтобы кого-нибудь не задеть. В диком грохоте. Сотни людей гибли в уличных катастрофах. В Лондоне одни только автомобили и омнибусы убивали и калечили

ежегодно двадцать тысяч человек, а в Париже было еще хуже: на запруженных толпами улицах люди падали замертво от недостатка воздуха. Жизнь лондонцев была полна таких раздражителей, внешних и внутренних, что от этого нетрудно было потерять рассудок. Это был обезумевший мир. Он был как бред больного ребенка. Те же лихорадочные фантазии, те же бессмысленные требования и горькие разочарования.

— Вся история, — сказал Каренин, — это летопись детства... И все же нет, не совсем. В ребенке, даже в больном ребенке, всегда есть что-то удивительно чистое, и какая-

то своеобразная сила, и вместе с тем что-то трогательное. Но старый мир слишком часто вызывает в нас возмущение. Так часто поступки этих людей кажутся нам чудовищно глупыми, отвратительно, нарочито глупыми, а это прямо противоположно всему, что молодо и свежо.

— На днях я читал о Бисмарке, об этом политическом герое девятнадцатого столетия, об этом преемнике Наполеона, боге крови и железа. А ведь он был просто тупым и упрямым любителем пива. Да, вот кем он был — самым заурядным, грубым человеком, когда-либо достигавшим величия. Я видел его

портреты: обрюзгшее, жабье лицо, выпученные глаза и густые усы, скрывающие безвольный рот. Он знать ничего не хотел, кроме Германии — Германии разросшейся, Германии раздувшейся, Германии вознесшейся. Германии и того класса, к которому он сам принадлежал. И вне этого для него не существовало никаких идей; настоящие идеи были ему недоступны; его разум никогда не поднимался выше примитивного коварства деревенского хитреца. И этот человек был самым влиятельным лицом в мире — во всем мире! Никто не оставил после себя столь глубокого следа, потому

что повсюду находились такие же грубые души, как он сам, охотно вторившие его рыку. Он растоптал десятки тысяч прекрасных творений, а злобным душам этих деревенщин нравилось смотреть, как он топчет красоту. О нет, он не был ребенком; его тупой национализм и агрессивность — это не ребячество. Детство — это обещание. А он был пережитком. И вся Европа, внимая бряцанию его сабли, приносила ему в жертву своих детей, приносила в жертву образование, искусство, радость и все свои надежды на счастливое будущее. Этот старый дурак поклонялся кумиру «крови и железа», и эта чудовищная религия

распространилась на весь мир. И так было до тех пор, пока атомные бомбы не расчистили нам снова путь к свободе...

— Теперь он представляется каждому из нас чем-то вроде мегатерия, — сказал один из юношей.

— Человечество за время своего существования создало три миллиона больших орудий и сто тысяч огромных судов, служивших единственной цели — войне.

— Неужели не было в те времена на земле разумных людей, которые восстали бы против этого идолопоклонства? — спросил тот же юноша.

— Их уделом было отчаяние, — сказала Эдит Хейдон.

— Как он далек от нас... А ведь есть люди, которые родились еще при Бисмарке! — воскликнул юноша.

— И все же я, быть может, несправедлив к Бисмарку, — сказал Каренин, следуя течению своих мыслей. — Видите ли, люди — всегда порождение своего века. Мы стоим на фундаменте сложившихся представлений своей эпохи, а воображаем, что твердо стоим на земле. Как-то раз я познакомился с очень приятным человеком, маори, прадед которого был каннибалом. У него случайно сохранился дагерротип этого старого грешника, и оказалось, что прадед и правнук удивительно похожи. Было совершенно очевидно, что,

переместись они во времени, каждый с успехом заменил бы другого. Люди, жестокие и глупые в эпоху глупости, могли бы проявить блестящий ум, мягкость и благородство характера в просвещенный век. И у мира в целом тоже могут быть подъемы и упадки духа. Подумайте о том, какой духовной пищей питался мозг Бисмарка в детстве: унижительность наполеоновских побед и завершающее торжество Битвы народов... В те дни все, и глупцы и мудрецы, равно верили, что раздел мира на множество отдельных государств неизбежен и что так будет продолжаться еще тысячелетиями.

Это и было неизбежно до тех пор, пока не стало невозможным. И всякого, кто стал бы открыто отрицать эту неизбежность, сочли бы... о да, разумеется, сочли бы глупцом. Старик Бисмарк провозглашал общепризнанные истины, он был только чуточку более других... энергичен. Вот и все. Он полагал, что поскольку должно существовать национальное правительство, то он создаст такое, которое будет сильным в своей стране и непобедимым за ее пределами. И если он жадно впитывал в себя идеи, которые, как мы понимаем теперь, были глупыми, это еще не значит, что сам он был

глупцом. Нам больше повезло, чем ему: наш мозг питался идеями коллективизма и единства. Что бы сейчас было с нами, если бы не милость науки? Я был бы ожесточившимся, озлобленным, затравленным русским интеллигентом, конспиратором, арестантом или цареубийцей. А вы, моя дорогая, были бы суфражисткой и били бы грязные стекла витрин.

— *Нет, не была бы!* — с достоинством заявила Эдит.

Беседа изменила направление, приняв шутливый характер, и молодые люди поддразнивали друг друга, а старик с улыбкой прислушивался к их болтовне, но

затем один из молодых ученых направил разговор в новое русло. Он заговорил горячо, словно излагая заветные мысли.

— Видите ли, сэр, мне кажется — конечно, это трудно доказать, — что цивилизация была на краю гибели, когда на нее обрушились атомные бомбы; мне кажется, что, не будь Холстена, не будь открыта искусственная радиоактивность, старый мир все равно был бы сокрушен... С той только разницей, что после катастрофы он не возродился бы к лучшему, а погиб бы безвозвратно. Я отчасти занимаюсь вопросами экономики и должен сказать, что с экономической точки

зрения столетие, предшествовавшее открытию Холстена, было столетием бессмысленного расточительства, которое с каждым годом нарастало. И только крайним индивидуализмом тех лет, только полным отсутствием всякого взаимопонимания между людьми или какой-либо общей цели можно объяснить такое расточительство. Человечество истощало свои ресурсы, как... умалишенный. Люди израсходовали три четверти всего запаса каменного угля, имевшегося на планете, они выкачали почти всю нефть, они истребили свои леса, и им уже стало не хватать меди и олова. Они истощили и заселили свои пахотные

земли, а их огромные города так понизили уровень воды в тех местностях, которые они считали пригодными для жилья, что каждое лето наступала засуха. Вся общественная система стремительно приближалась к полному банкротству. А они из года в год тратили все больше и больше средств и энергии на военные приготовления, и промышленность все больше попадала в зависимость от капитала. Когда Холстен начал свои изыскания, экономическая система уже шаталась. Но в целом мир не чувствовал надвигающейся опасности и не стремился проникнуть в ее причины. Люди не

верили, что наука может спасти их, да и не понимали, что их нужно от чего-то спасать. Они не видели, не хотели видеть пропасти, разверзшейся у их ног. Человечеству просто случайно повезло, что кто-то продолжал заниматься наукой. И, как я уже сказал, сэр, если бы не этот спасительный вариант, все равно вскоре настал бы крах, революция, паника, полный распад общества, голод и — это тоже вполне вероятно — полный хаос... И сейчас рельсы ржавели бы на опустевших железнодорожных путях, телефонные столбы, сгнив, валялись бы на земле, океанские пароходы превращались бы в портах в груды ржавого железа,

а выжженные, опустевшие города
сделались бы пристанищем шаек
грабителей. И мы, быть может, были
бы теперь разбойниками в
потрясенном, распавшемся мире. Вы
улыбаетесь, а ведь это уже случилось
в истории человечества. Земной шар
и сейчас еще начинен остатками
погибших цивилизаций. Варвары
сделали из Акрополя свой оплот, а
гробница Адриана была превращена
в крепость, воевавшую на развалинах
Рима против Колизея... Кто
поручится, что все это никак не
могло повториться в 1940 году? И
разве все это так далеко ушло от нас
в прошлое даже сейчас?

— Нам это кажется очень

далеким теперь, — сказала Эдит Хейдон.

— Ну, а сорок лет назад?

— Нет, — сказал Каренин, устремив взгляд на горы, — по-моему, вы недооцениваете, каких высот уже достиг человеческий интеллект в те первые декады двадцатого столетия. Я знаю, что в общественной, политической жизни этот интеллект мало проявлял себя, но он существовал. И ваша гипотеза представляется мне маловероятной. Я сомневаюсь, чтобы открытие атомной энергии могло задержаться. В ходе научных открытий существует своя непреложная логика. Более ста лет человеческая мысль и наука шли

своим путем, независимо от событий повседневной жизни. Дело в том, что они сбросили с себя путы. Не будь Холстена, появился бы другой, подобный ему. И не в тот год, так в следующий атомная энергия была бы открыта. В Риме — эпохе упадка — наука только зарождалась... Ниневия, Вавилон, Афины, Сиракузы, Александрия — эти первые, неуклюжие попытки объединения, создавали краткий период стабильности, давали передышку, во время которой зародился дух исканий. Человек должен был пробовать, проделывать опыты, прежде чем понял, как надо начинать. Но уже двести лет назад он

по-настоящему начал...
Политические распри,
дипломатические интриги, войны
девятнадцатого и двадцатого
столетий — все это было последней
вспышкой костра, на котором, как
феникс, сгорела старая цивилизация,
озарив рождение новой
цивилизации. Той, которой служим
мы...

— Человек всегда живет на заре
существования, — сказал
Каренин. — Жизнь — всегда начало
и только начало. Она начинается
беспрерывно и вечно. И каждый наш
новый шаг кажется нам огромней
предыдущего, но он лишь подготовка
к следующему. Сто лет назад наше

Современное Государство
показалось бы просто мечтой,
утопией; теперь же это привычные
условия нашего существования. Но я
задумываюсь о возможностях
человеческого мозга, которые вот-вот
развернутся под эгидой прочного
покоя, обеспеченного ему этим
государством, и эти величественные
горы кажутся мне такими
ничтожными...

Около одиннадцати часов Каренин пообедал, после чего проспал два часа под своим одеялом из искусственного меха. Когда он проснулся, ему принесли чай, после чего Гарденер, зная, что это его заинтересует, сообщил ему о некоторых затруднениях, возникших в Гренландии и на Лабрадоре в связи с моравскими школами. Затем некоторое время он провел в одиночестве, после чего к нему снова пришли Рэчел Боркен и Эдит Хейдон. Позже к ним присоединились Эдвардс и Кан, и разговор зашел о любви и месте

женщины в возрожденном мире.

Над Индией в мерцающем
мареве лежала гряда облаков; на
востоке отвесные скалы,
возносящиеся над пропастью,
ослепительно сверкали под солнцем.
Время от времени где-нибудь
трескалась скала, и огромные куски
ее летели в бездну, или внезапно со
страшным грохотом обрушивалась
лавина снега, льда и камней,
повисала над бездной, как
серебристая нить, и исчезала
бесследно...

Вначале Каренин больше молчал, и Кан, чьи стихи пользовались большим успехом, заговорил о любви-страсти. Он сказал, что во все века, с первых дней возникновения человечества страстная личная любовь всегда была его заветной мечтой, но только теперь она наконец стала действительностью. Это была греза, за которой из поколения в поколение устремлялись люди, но она всегда ускользала от них в последний миг, когда, казалось, уже готова была осуществиться. На тех, кто стремился к ней слишком упорно,

она почти неизменно навлекала гибель. Теперь, освободившись от всего низменного и темного, поднявшись над обыденностью, каждый мужчина и каждая женщина обретают надежду на торжествующую, осуществленную любовь. Новая эра — это Заря Любви...

Каренин слушал Кана, грустно задумавшись, и голос поэта словно бился об это молчание не в силах его преодолеть. Сначала Кан говорил с Карениным, но вскоре уже обращался и к Эдит Хейдон и к Рэчел Боркен. Рэчел слушала его молча, а Эдит наблюдала за Карениным и упорно избегала

взгляда Кана.

— Я знаю, — сказал Каренин наконец, — что многие разделяют такую точку зрения. Я знаю, что увлечение любовью сейчас охватило весь мир. «Цветение» — великое стремление украшать жизнь, делать ее изящной, не могло не сказаться и тут. Я знаю, когда вы говорите: мир освобожден — вы хотите сказать, что он освобожден, чтобы любить. Там внизу, под этими облаками, пребывают влюбленные. Мне известны ваши стихи и песни, Кан, ваши почти мистические песни, в которых наш старый огрубевший мир растворяется в сияющей дымке любви — плотской любви... Но вы

не правы, вы ошибаетесь, по-моему. Вы молоды, наделены могучим воображением и видите жизнь... пылко, глазами молодости. Однако сила, которая привела человека на эти вершины, под эту чуть подсиненную черноту неба и манит его вдаль — в грозную, величественную безграничность будущего, — это сила более мощная, более зрелая, более высокая, чем чувства, которые вы воспеваете... Всю мою жизнь (это было неотъемлемой частью моей работы) мне приходилось думать о плотской любви, освобожденной от всех оков, и о том неизведанном, что может заронить в душу человека эта полная

свобода и почти безграничное могущество. И вот теперь я вижу, что весь мир пребывает в упоительном экстазе расточительства: «Будем петь и радоваться, будем прекрасны и подобны богам...» Оргия только начинается, Кан... Это неизбежно, но это не конец человечества... Подумайте, что мы такое? Еще вчера в безграничности времени жизнь пребывала в вечном полусне, настолько глубоко, что она не осознавала сама себя: ее отдельные воплощения, ее различные инстинкты, ее секундные преосуществления рождались, недоуменно смотрели вокруг, играли, испытывали желания, томились

голодом, старели и умирали. Неисчислимы вереницы зрительных восприятий: картины пронизанных солнцем джунглей, речных заводей, дремучей чащи, — безотчетные желания, бьющиеся сердца, распростертые крылья и скрытый, подползающий ужас вспыхивали на мгновение жарким пламенем и исчезали без следа. Жизнь была непрерывной мучительной тревогой, которую озаряла игра тут же гаснущих отблесков. А затем появились мы — появился человек, и открыл глаза, и это был вопрос, и протянул руки, и это было требование, и возникли сознание и память, которая не умирает вместе с

человеком, но живет и множится вечно — общее сознание, всеподчиняющая воля, пытливое проникновение вглубь и дерзание, достигающее звезд... Голод, и страх, и то, что кажется вам таким важным, — пол — все это лишь первичные частицы жизни, из которых мы все возникли. И я согласен с вами: все эти первичные чувства следует удовлетворить, ими нельзя пренебрегать, с ними надо считаться, но все они будут оставлены позади.

— Только не Любовь, — сказал Кан.

— Я говорю о плотской любви, о любви-сближении. Именно это вы и

имеете в виду, Кан. — Каренин покачал головой. — Вы не можете одновременно и стоять под деревом и взбираться на его вершину, — сказал он.

— Нет, — помолчав, заговорил он снова, — это чувственное волнение, эти любовные перипетии — все это одно из состояний роста, и мы перерастаем их. До сих пор литература, искусство, взгляд на чувства и все эмоциональные формы нашего бытия были еще совсем юношескими; книги и пьесы, радости и надежды — все вращалось вокруг открывшегося вам чуда любви, но теперь жизнь шагнула вперед, и сознание повзрослевшего

человечества обращается к другим предметам. Поэты, которые прежде умирали в тридцать лет, живут теперь до восьмидесяти пяти. И вы тоже будете еще долго жить, Кан! У вас впереди бессчетная вереница лет — и все они будут наполнены познанием... Над всеми нами еще тяготеет чрезмерное бремя пола и различных связанных с ним традиций, и мы должны от него освободиться. И мы уже освобождаемся от него. Мы уже открыли тысячи различных способов отдалять смерть, так что половой инстинкт, получивший такое сильное развитие на ранней, варварской ступени нашего существования,

чтобы в достаточной мере уравновесить смерть, теперь стал молотом, лишенным наковальни, и бьет не по смерти, а по жизни. Вы, молодые юноши и девушки, поэты, хотите обратить ее в наслаждение. Что ж, наслаждайтесь. Это тоже может быть одним из способов избавления. Очень скоро, если у вас есть мозг, достойный этого названия, наслаждение вам надоеет и вы подниметесь сюда во имя более высоких занятий. Старые религии и новые их видоизменения все еще пытаются, как я вижу, подавлять эти инстинкты. Пусть подавляют. Если им это удастся. В своих последователях. Любой путь в конце

концов все равно приведет вас сюда, к вечным поискам знания, к великому упоению могуществом разума.

— Но, между прочим, — сказала Рэчел Боркен, — между прочим, половина человечества — женщины, специально приспособлены для... для любви и продолжения рода, хотя в этом теперь меньше нуждаются.

— Оба пола специально приспособлены для любви и для продолжения рода, — сказал Каренин.

— Однако основное бремя несут женщины.

— Но не психологически, — заметил Эдвардс.

— Право же, — сказал Кан, — если вы говорите о любви как о какой-то ступени в жизни человека, то не кажется ли вам, что эта ступень необходима?

Совершенно независимо от задачи продолжения рода любовь между полами необходима. Разве не любовь, не чувственная любовь развязала крылья воображения? Ведь без этого толчка, без этого стремления оторваться от самого себя, стать безрассудным, забыть о себе наша жизнь была бы лишь удовлетворением поставленного в стойло вола, не так ли?

— Ключ, которым мы отмыкаем дверь, чтобы отправиться в

путешествие, — сказал Каренин, — это средство, а не цель.

— А женщины? — воскликнула Рэчел. — Мы же существуем! Каково наше будущее как женщин? Неужели мы только ключ, который отпирает для вас, мужчин, двери воображения? Поговорим теперь об этой стороне вопроса. Я постоянно думаю о ней, Каренин. А вы — что вы думаете о нас? Ведь вы, вероятно, много размышляли над этими проблемами?

Каренин, казалось, взвешивал свой ответ, а потом сказал с расстановкой:

— Меня несколько не интересует ваше будущее: как женщин. Меня несколько не

интересует будущее мужчин — как самцов. Я хочу уничтожить эти отдельные судьбы. Меня интересует только ваше общее будущее как носителей разума, как частиц единого разума всех человеческих поколений, продолжающих его пополнять. Ведь не только природа разделила человечество на две специфические половины, но люди сами всеми своими институтами, всеми своими обычаями всячески углубляют, преувеличивают это различие. Я же хочу, чтобы женщины утратили свою специфичность. Эта мысль не нова. Именно этого требовал Платон. Я не хочу, чтобы и дальше все шло по-прежнему и

природное различие продолжало всячески подчеркиваться. Я его не отрицаю, но хочу уменьшить его и преодолеть.

— А пока мы... остаемся женщинами, — сказала Рэчел Боркен.

— Но нужно ли вам всегда думать о себе как о женщинах?

— Нас к этому вынуждают, — сказала Эдит Хейдон.

— Женщина, мне кажется, не перестает быть женщиной только потому, что одевается и работает, как мужчина, — сказал Эдвардс. — Вот вы, женщины, живущие здесь — я имею в виду женщин-ученых, — носите такую же белую одежду, как

мужчины, гладко причесываетесь и занимаетесь своей работой так, словно на свете существует лишь один пол, и все же вы ничуть не менее женщины — даже если и не столь женственны, как те красавицы, которые живут там внизу, на равнине, одеваются ради удовольствия выставлять себя напоказ, думают только о любовниках и всячески подчеркивают свое отличие от мужчин... Наоборот, мы любим вас гораздо больше...

— Но ведь мы занимаемся нашей работой, — сказала Эдит Хейдон.

— Так какое это имеет значение? — спросила Рэчел.

— Если вы заняты работой и мужчины заняты работой, тогда, бога ради, оставайтесь женщинами, сколько вам нравится, — сказал Каренин. — Когда я призываю вас покончить со своей специфичностью, я думаю не об уничтожении пола, а об уничтожении этой одержимости полом, которая превращается в досадную и вредную помеху на пути жизни. Возможно, именно пол создал общество, и первой формой общества была семья, то есть союз полов, первым государством — объединение кровных родственников, первыми законами — половые запреты. До самого последнего

времени понятие нравственности подразумевало прежде всего соблюдение определенных правил в отношениях полов, не пренебрегающее установленными нормами. До самого последнего времени главным жизненным интересом и целью обыкновенного среднего человека было содержать женщину и ее детей и властвовать над ними, а главную заботу женщины составляло стремление найти себе такого мужчину. В этом была драма, в этом заключалась жизнь. И зависть с ревностью, порожденные этими стремлениями, правили миром. Вы только что сказали, Кан, что плотская любовь — это ключ,

отмыкающий двери индивидуального одиночества, а я говорю, что до сих пор она отмыкала эти двери лишь для того, чтобы снова замкнуть их, сделав наше одиночество парным... Быть может, все это было необходимо когда-то, но теперь нам это не нужно. Все изменилось и продолжает изменяться крайне стремительно. Ваше будущее, Рэчел, как женщин сходит на нет.

— Неужели вы хотите сказать, Каренин, что женщины должны будут стать мужчинами?

— И мужчины и женщины должны стать людьми.

— Вы хотите уничтожить женщину? Но послушайте, Каренин!

Это же не только вопрос пола. Независимо от нашего пола мы другие, чем вы. Мы по-другому воспринимаем жизнь. Забудьте на минуту, что мы... самки, Каренин, все равно вы увидите, что мы другие люди, с другим назначением. В некоторых областях мы как-то удивительно неспособны. Ну, вот я нахожусь здесь потому, что у меня есть организаторские способности, а Эдит здесь потому, что у нее искусные и терпеливые руки. Но это ничуть не меняет того факта, что почти вся наука в мире создана мужчиной, что мужчины и только мужчины творят историю и можно написать историю всех народов,

населяющих землю, не упомянув почти ни одного женского имени. Но зато мы обладаем даром преданности, умением воодушевлять, инстинктивной тягой ко всему поистине прекрасному, жизнелюбием, особой чуткостью и зоркостью на добро и зло. Вы знаете, что в этом отношении мужчины по сравнению с нами слепцы. И вы знаете, что они беспокойны и порывисты. А у нас есть стойкость. Может быть, мы не способны открывать новые горизонты или прокладывать новые пути, но разве в будущем не предназначена для нас роль поддерживать, восполнять и сохранять? Роль, быть может, не

менее важная, чем ваша? Столь же важная. На нас держится мир, Каренин, хотя, быть может, воздвигли его вы.

— Вы прекрасно знаете, Рэчел, что я разделяю ваши взгляды. Я не считаю, что женщина не должна больше существовать. Но я действительно считаю, что женщина-кумир, плотский кумир, не имеет больше права на существование. Я хочу, чтобы не существовало больше женщин, оружие которых — ревность, а талант — порабощение. Я хочу, чтобы не существовало больше женщин, которых можно завоевать, как приз, или запретить, как

драгоценность. А там внизу, на равнине, именно этому кумиру кадят фимиам.

— В Америке, — сказал Эдвардс, — мужчины дерутся на поединках, отстаивая превосходство своей избранницы, и устраивают турниры в честь Королевы Красоты.

— В Лахоре я видел красивую девушку, — сказал Кан. — Она, словно богиня, восседала под золотым балдахином, а на ступеньках у ее ног сидели трое прекрасных мужчин, одетых и вооруженных, как на старинных полотнах. Они выражали этим свою преданность ей и ждали только ее позволения, чтобы сразиться за нее.

— Все это выдумки самих мужчин, — сказала Эдит Хейдон.

— Я уже говорил, — воскликнул Эдвардс, — что чувственная любовь гораздо ярче воспламеняет воображение мужчины, чем женщины! Какая женщина способна на подобные поступки? Женщина либо просто подчиняется, либо старается извлечь из них для себя выгоду.

— Все дурное, что есть в отношениях мужчины и женщины, обоюдно, — сказал Каренин. — Это вы, поэты, Кан, с помощью ваших любовных песен превращаете прекрасный товарищеский союз в возбужденный хоровод вокруг

женщины. Однако в женщине, во многих женщинах заложено нечто, радостно откликающееся на этот призыв, они дают волю самому эгоистичному виду эгоизма — культу собственной личности. Они становятся своим собственным художественным творением. Они ухаживают за собой и украшают себя, как, вероятно, не смог бы ни один мужчина на свете. Они ищут себе золоченые балдахины. И даже когда они как будто восстают против этого, они, в сущности, преследуют ту же цель. Я читал в старых газетах о движении за эмансипацию женщин, возникшем накануне открытия атомной энергии. Такого рода

движения, порождавшиеся стремлением освободиться от ограниченности и тирании пола, кончались еще более неистовым утверждением его, и женщины снова провозглашались героинями и возвеличивались еще больше. Елена, попадавшая в тюрьму за суфражизм, принесла по-своему не меньше зла, чем Елена Троянская, и до тех пор, пока вы не перестанете считать себя женщинами, — с мягкой улыбкой он погрозил Рэчел пальцем, — вместо того чтобы считать себя просто разумными людьми, до тех пор вам всегда будет грозить опасность стать жертвами... «еленизма». Думать о себе как о женщине — это значит не

мыслить себя отдельно от мужчины. Вы не можете этого избежать. А вы должны научиться — ради нас и ради вас самих — мыслить себя во вселенной рядом с солнцем и звездами. Вы не должны быть целью наших дерзновенных стремлений, вы должны сами разделять их с нами...

И широким жестом он указал на темно-синее небо над вершинами гор.

— На все эти вопросы наука скоро даст нам ответ, — сказал Каренин. — Пока мы сидим здесь и в довольно туманных выражениях обсуждаем на досуге, что нужно людям и что, возможно, будет, сотни умных и пытливых мужчин и женщин трудятся над этими проблемами уверенно и спокойно, трудятся из любви к знанию. Теперь самой богатой жатвы мы можем ожидать от психологии и физиологии нервной системы. Сложность отношений мужчины и женщины, проблема живучести эгоизма — все это временные беды, и с ними будет

покончено еще в нашем веке. В один прекрасный день эти противоречия, которые кажутся такими укоренившимися, исчезнут, все, что кажется сейчас несовместимым, гармонично совместится, и мы будем так же решительно и смело отливать в прекрасную форму наши тела и души, наши чувства и наши взаимоотношения, как мы врезаемся сейчас в недра гор, и обуздываем морскую стихию, и меняем направление ветра.

— Это будет следующая ступень, — сказал Фаулер, который тоже вышел на террасу и молча сел на стул за спиной Каренина.

— Конечно, в старину люди

были прикованы к своему городу или к своей стране, — сказал Эдвардс, — прикованы к домам, которыми они владели, или к работе, которой занимались...

— Я считаю, — сказал Каренин, — что способность человека к самосовершенствованию безгранична.

— Конечно, она безгранична, — сказал Фаулер, проходя вперед и присаживаясь на перила террасы, лицом к Каренину. — Знание неисчерпаемо, и возможности человека безграничны... Вы не устали от разговоров?

— Мне все это очень интересно, — сказал Каренин. —

Мне кажется, в скором времени люди перестанут испытывать усталость. Вы скоро изобретете какое-нибудь средство, которое будет очищать организм от продуктов утомления и мгновенно восстанавливать истощенные ткани. Эту старую машину можно заставить работать без замедления и без остановки.

— Это возможно, Каренин. Но нам еще нужно многое узнать.

— А сколько часов в сутки мы не живем полноценно, а тратим на процессы пищеварения! Быть может, и от этого нас со временем можно будет избавить?

Фаулер утвердительно кивнул.

— А затем еще сон. Когда

человек положил конец ночи, ярко осветив свои города и дома, — это произошло всего лет сто назад, — казалось, что теперь он, естественно, восстанет против своего восьмичасового бездействия. Быть может, скоро мы будем глотать какую-нибудь таблетку или нас будут помещать в поле действия какой-нибудь силы, после чего нам будет достаточно подремать часок, чтобы снова стать свежими и бодрыми.

— Фробишер и Амир Али уже ведут работу в этом направлении.

— И наконец, все помехи, которые несет с собой старость, все болезненные изменения, которые несут годы нашему организму, мало-

помалу вы заставляете их отступать все дальше и дальше и все увеличиваете расстояние, отделяющее бурную и страстную юность от воздержанной старости. Человек, который прежде неуклонно слабел по мере того, как разрушались его зубы, и умирал, сейчас с надеждой смотрит вперед, веря, что срок его существования на земле будет продлен еще и еще. А тело человека и все его рудиментарные органы, все его предательские западни, в которых гнездилась для него опасность, — вам удастся все лучше и лучше справляться с ними. Вы как бы заново лепите и перекраиваете это тело, и оно

выходит из ваших рук обновленным. А психологи учатся отливать в новую форму мозг, освобождать его от болезненных комплексов, от дурных мыслей и побуждений, от всего, что его угнетает, и от предрассудков и узости. И в нас все больше повышается способность передавать по наследству то, чем мы овладели, и так сохранять это для человечества. Человечество беспрерывно накапливает силы, мудрость, опыт, знания и все больше подчиняет отдельную личность общей цели. Не так ли?

Фаулер подтвердил, что это действительно так, и принялся рассказывать Каренину о новых

работах, проводящихся в Индии и в России.

— А как обстоит дело с проблемой наследственности? — спросил Каренин.

Фаулер рассказал об огромном научном материале, собранном и исследованном гениальным Ченом, которому удалось проследить довольно отчетливо законы наследственности и даже найти способы предопределять пол ребенка, некоторые черты его внешнего облика и многие наследственные особенности...

— Он действительно способен?..

— Пока еще это, так сказать,

лабораторная победа, — сказал Фаулер. — Но завтра она принесет и практические результаты.

— Вот видите, — воскликнул Каренин, с улыбкой оборачиваясь к Рэчел и Эдит, — пока мы здесь развиваем всевозможные теории о мужчинах и женщинах, наука уже открывает силы, которые могут раз и навсегда покончить с этим старым спором! Если женщина станет для нас помехой, мы сведем это зло до минимума, а если какой-нибудь тип мужчины или женщины будет нам не по вкусу, мы не будем больше его воспроизводить. Все эти старые тела, эти старые телесные ограничения и вся эта якобы неизбежная грубая

наследственность спадают с души человека, как сморщенный кокон с бабочки. Сам я, например, когда слышу о чем-либо подобном, ощущаю себя именно такой бабочкой, которая боится расправить еще влажные крылья. Ведь куда все это нас уводит?

— За грань человеческого, — сказал Кан.

— Нет, — ответил Каренин. — Мы по-прежнему можем твердо стоять ногами на этой земле, которая нас породила. Но воздушная сфера уже перестала быть для нас преградой, и земной шар уже не прикован к нашим ногам, как ядро к ступням каторжника... Скоро люди,

научившиеся приспособляться к изменениям силы тяжести, к иным давлениям и к разреженным неизвестным газам и страшному ощущению пустого пространства, отважатся покинуть пределы Земли. Одной этой планеты будет им уже мало; их дух заставит их устремиться ввысь... Разве вы не видите, как их смелые корабли, сверкая на солнце, устремятся к звездам и будут становиться все меньше и меньше, пока не превратятся в мерцающую светящуюся точку и не растают в синеве? Быть может, они одержат победу, быть может, погибнут, но за ними последуют другие... И словно откроется огромное окно, —

закончил Каренин.

Когда день склонился к вечеру, Каренин и его собеседники поднялись на крышу здания, чтобы полюбоваться закатом, игрой красок на вершинах гор и последним брезжущим сиянием. К ним присоединились еще два хирурга из расположенных в нижнем этаже лабораторий, а затем сиделка принесла Каренину освежающий напиток в чашечке из тонкого стекла. Был тихий безветренный вечер; на севере в темно-синем безоблачном небе виднелись два серебристых биплана, летевших к обсерваториям на Эвересте, который лежал в

двухстах милях отсюда за зубчатыми массивами на востоке. Все следили, как они плыли над горами и растаяли в синеве. Потом заговорили о работе этих обсерваторий. Понемногу разговор перешел на исследовательскую работу в целом, которая велась сейчас во всем мире, и мысли Каренина снова возвратились к совокупному интеллекту человечества и к великому будущему, открывавшемуся перед человеческой мыслью. Он задавал хирургам множество вопросов о перспективах их науки и с огромным интересом и волнением слушал все, что они ему рассказывали.

А пока они беседовали, солнце коснулось края гор, на мгновение превратилось в ослепительное полушарие жидкого огня, зазубренное снизу, и скрылось за кряжем.

Каренин, прищурившись, посмотрел на его пламенеющий край, прикрыл глаза рукой и умолк.

Внезапно он вздрогнул.

— Что с вами? — спросила Рэчел Боркен.

— Я совсем забыл... — сказал он.

— Что вы забыли?

— Я совсем забыл, что завтра меня будут оперировать. Я, Человек, провел сегодня такой увлекательный

день, что чуть было не позабыл про Марка Каренина. Марк Каренин завтра ляжет под ваш нож, Фаулер, и весьма вероятно, что Марк Каренин умрет. — Каренин остановил возражения, подняв морщинистую руку. — Это не имеет значения, Фаулер. Это почти не имеет значения даже для меня. Ну, право же, разве это Каренин сидел здесь сейчас и разговаривал с вами? Не кажется ли вам, Фаулер, что это скорее наш общий разум — разум всего человечества говорил во всех нас и с нами? Вы, и я, и все мы выражали мысль за мыслью, но нить этих мыслей не принадлежала ни вам, ни мне. Мы все познали какую-то

истину. И когда человек полностью и окончательно выразил свою сущность, став выразителем идеи, он как отдельная личность уже перестает существовать. Я чувствую, что уже опустошил этот неглубокий сосуд — этого Марка Каренина, который в юности так безраздельно и прочно держал меня в своих цепях. Ваша красота, дорогая Эдит, и ваш высокий лоб, дорогая Рэчел, и ваши твердые руки, Фаулер, — все это сейчас почти в такой же мере я сам, как эта рука, лежащая на подлокотнике моего кресла. И в такой же мере не я. А дух, жаждущий познать, дух, стремящийся созидать, дух, который живет в нас и говорит в

нас сейчас, жил в Афинах, жил во Флоренции и будет жить, я убежден в этом, вечно...

И ты, древнее Солнце, в последний раз пронзающее мечами своих лучей ослабевшие глаза Марка, — берегись меня! Ты думаешь, что я умираю, а в действительности я лишь еще раз меняю оболочку, чтобы добраться до тебя. Десять тысячелетий я грозил достичь тебя, и скоро, знай, скоро я приду. После того как я совсем освобожусь от своего тела, и все личины будут сброшены. Теперь уже скоро, очень скоро, древнее Солнце, я устремлюсь к тебе, и достигну тебя, и опущу ступню на твое

испещренное пятнами лицо, и ухватчу тебя за твои огненные кудри. Сначала я шагну на Луну, а затем устремлюсь на тебя. Я уже говорил с тобой когда-то, древнее Солнце, миллионы раз я обращался к тебе, и сейчас эти воспоминания оживают во мне. Да, давно, давно — прежде чем я. Человек, сменил тысячи поколений, забытых ныне и превратившихся в прах, — я, волосатый дикарь, протянул к тебе руку и — о, как отчетливо я это помню! — увидел тебя в ловушке. Ты позабыло это, древнее Солнце?..

Слушай, древнее Солнце, я собираю себя воедино из капель индивидуальностей, которые

разбивали меня на мириады
рассеянных по миру частиц. Я
собираю миллиард моих мыслей в
единую науку и миллионы моих
разрозненных стремлений в единую
общую волю, в единую общую цель.
Да, у тебя есть причины прятаться от
меня за горами, да, ты можешь
страшиться меня...

Каренин пожелал остаться наедине со своими мыслями, прежде чем вернуться к себе на ночь. Ему облегчили боль, которая снова начала его мучить, укутали в меха, потому что ночь несла с собой ледяной холод, и оставили его, и он еще долго сидел один, глядя, как догорает закат и надвигается ночной мрак.

Тем, кто незаметно наблюдал за ним, на случай если ему может что-либо понадобится, казалось, что он совсем ушел в свои мысли.

Белые и лиловые пики гор на золоте заката вспыхивали и угасали в холодной синей дали, а над ними уже

загорались яркие созвездия индийского неба, блеска которых не может затмить даже сияние луны. Луна поднялась из-за черной стены гор на востоке, но задолго до ее появления она послала вперед свои косые лучи, пронизав ими туман, лежащий в ущельях, и превратив башни и шпили Риво-Парджул в волшебно сияющий сказочный замок...

Но вот над черной кромкой скал вспыхнул свет, призрачный и яркий, и, словно оторвавшийся от соломинки мыльный пузырь, спокойная и ясная луна поплыла в бездонное темное небо...

И тогда Каренин встал. Он

сделал несколько шагов по террасе и остановился, глядя на этот огромный серебряный диск, на этот серебряный щит, с которого должен начать человек свое победоносное проникновение в далекие миры...

Потом он повернулся и, заложив руки за спину, устремил взор на звезды в северной части неба...

Наконец он возвратился в свою комнату. Он лег в постель и проспал до утра, и сон его был спокоен. А рано утром к нему пришли, ему дали наркоз, и операция была произведена.

Она прошла успешно, но Каренин сильно ослабел и был вынужден лежать совершенно

неподвижно.

А на седьмую ночь сгусток крови оторвался от рубцующейся ткани, достиг сердца, и Карелии умер мгновенно.

notes

«Человек разумный» (*лат.*)
определение современного человека
как биологического вида.